

• Герман Гессе

- Герман Гессе. Август
- Герман Гессе. Поэт
- Герман Гессе. Странная весть о другой звезде
- Герман Гессе. Тяжкий путь
- Герман Гессе. Череда снов
- Герман Гессе. Фальдум
- Ярмарка
- Гора
- Герман Гессе. Ирис
- Герман Гессе. Роберт Эгион
- Герман Гессе. Легенда об индийском царе
- Герман Гессе. Невеста
- Герман Гессе. Лесной человек
- Примечания

Герман Гессе Сказки, легенды, притчи (11 рассказов)

Герман Гессе. Август

Впервые сказка напечатана в 1918 году и посвящена друзьям Гессе — Эмилю Мольте (владельцу сигаретной фабрики Вальдорф-Астория) и его жене Берте.

Перевод И. Алексеевой.

На улице Мостакер жила одна молодая женщина, и отняла у нее злая судьба мужа сразу после свадьбы, и вот теперь, одинокая и покинутая, сидела она в своей маленькой комнатке в ожидании ребенка, у которого не будет отца. Осталась она совершенно одна, и потому все помыслы ее покоились на этом не рожденном еще ребенке, — и чего только не придумывала она ДЛЯ своего дитяти, все самое прекрасное, необыкновенное и чудесное, что есть на свете, сулила она ему. Она воображала, что ее малютка живет в каменном доме с зеркальными окнами и фонтаном в саду и что будет он по меньшей мере профессором, а то и королем.

А по соседству с бедной госпожой Элизабет жил один старик, который лишь изредка выходил из дому и представал тогда маленьким седым гномом с кисточкой на колпаке изеленым зонтом, спицы которого были сделаны из китового уса, как в старину. Дети боялись его, а взрослые считали, что неспроста он сторонится людей. Случалось, что он подолгу никому не попадался на глаза, но порой по вечерам из его маленького ветхого домика доносилась тихая, нежная музыка, напоминавшая звучание целого сонма маленьких хрупких инструментов. Иногда дети, проходя мимо, спрашивали своих матерей, не ангелы ли это поют, или, быть может, русалки, но матери ничего не могли сказать и отвечали: «Нет-нет, это, наверное, музыкальная шкатулка».

Между этим маленьким человечком, которого соседи называли господин Бинсвангер[1], и госпожой Элизабет завязалась странная дружба. А заключалась странность в том, что хотя они никогда не разговаривали друг с другом, но маленький старый господин Бинсвангер всякий раз необычайно приветливо здоровался, проходя мимо ее окна, а она с благодарностью кивала ему в ответ, ей было приятно, и оба думали: если мне когда-нибудь станет совсем плохо, то я, конечно, пойду за помощью в

соседний дом. А когда начинало смеркаться и госпожа Элизабет сидела одна и грустила об умершем или думала о своем малютке и забывала обо всем на свете, господин Бинсвангер тихонько приоткрывалстворку окна, и из его темной каморки лились тогда тихие серебристые звуки умиротворяющей музыки подобно лунному свету, что струится сквозь сеть облаков. А госпожа Элизабет каждый день ранним утром заботливо поливала старые кусты герани, которые стояли на одном из боковых окон в доме соседа, и они пышно зеленели и были всегда усыпаны цветами, и не было на них ни одного увядшего листочка, хотя господин Бинсвангер совсем не следил за ними.

И вот настала осень; был скверный, ветреный, дождливый вечер, и на улице Мостакер не было ни души; и тут бедная женщина почувствовала, что сроки ее исполнились, и ей стало страшно, потому что была она совершенно одна. Но с наступлением ночи явилась к ней какая-то пожилая женщина со светильником в руках; она нагрела воды, поправила простыни и сделала все, что обычно делается, когда дитя должно появиться на свет. Госпожа Элизабет покорилась и терпеливо молчала; и лишь когда малютка родился и, завернутый в белоснежные пеленки, погрузился в свой первый земной сон, она спросила женщину, откуда та взялась.

«А меня послал господин Бинсвангер», — сказала старуха; и тут усталая родильница заснула, а проснувшись утром, увидела, что на столе стоит кипяченое молоко, что все в комнате чисто убрано, а рядом с него лежит ее маленький сын и кричит от голода; старуха же исчезла. Мать приложила малютку к груди, радуясь, что он такой хорошенький и здоровенький. Она вспомнила его отца, которому никогда не суждено было увидеть сына, и из глаз у нее полились слезы; и она прижала к груди маленького сынишку, и вновь улыбнулась, и заснула вместе со своим мальчиком, а когда проснулась, то на столе снова стояло молоко и был готов суп, а дитя было завернуто в чистые пеленки.

Но скоро мать оправилась, вновь набралась сил и могла уже сама заботиться о себе и о маленьком Августе; она вспомнила, что сына пора крестить и что нет у него крестного. И вот под вечер, когда начало смеркаться и из дома напротив вновь послышалась нежная музыка, она отправилась к господину Бинсвангеру. Она робко постучалась в темную дверь. «Войдите», — раздался приветливый голос, и он вышел ей навстречу, только вот музыка внезапно смолкла, а в комнате на столе стояла маленькая старая настольная лампа и лежала раскрытая книга, — и все было так, как у других людей.

«Я пришла поблагодарить вас, — сказала госпожа Элизабет, — ведь

это вы прислали ко мне добрую женщину. Я очень хотела бы заплатить ей за услуги и заплачу, как только смогу работать и получу немного денег. Но сейчас у меня другая забота. Я собираюсь крестить малыша и хочу дать ему имя Август — это имя его отца».

«Да, я уже думал об этом, — сказал сосед и провел рукой по своей седой бороде. — Будет неплохо, если у малыша появится добрый и богатый крестный, который сможет позаботиться о нем, если вдруг с вами что-то случится. Но я всего лишь старый одинокий человек, и у меня почти нет знакомых, и некого мне вам присоветовать, разве что вы захотите взять в крестные меня самого».

Бедная мать обрадовалась и поблагодарила маленького человечка и пригласила его быть крестным. В следующее воскресенье они понесли малютку в церковь и крестили его; и тут вдруг опять появилась та самая старуха и хотела подарить ребенку талер, а когда мать стала отказываться, старуха промолвила: «Возьмите, возьмите, я стара уже, и мне много не надо. Может статься, этот талер принесет вам счастье. А просьбу господина Бинсвангера я выполнила с радостью, ведь мы с ним давние друзья».

Все вместе отправились они домой, и госпожа Элизабет сварила гостям кофе, а сосед принес пирог, и получился у них настоящий праздник. Они ели и пили, малыш давно уже заснул, и тут господин Бинсвангер смущенно сказал: «Что ж, теперь я сделался крестным маленького Августа. Я бы очень хотел подарить ему королевский замок и мешок с золотом, но всего этого у меня нет, и я могу лишь положить на его постельку второй талер — рядом с талером его крестной матери. Как бы то ни было, я сделаю для него все, что смогу, и да свершится задуманное. Госпожа Элизабет, вы, конечно, желаете своему сыночку только добра. Поразмыслите хорошенько, чего вы больше всего хотите для него, а я уж позабочусь о том, чтобы ваша мечта осуществилась. Вы можете загадать для своего мальчика любое желание, но только одно, одно-единственное. Взвесьте все как следует и сегодня вечером, когда вы услышите звуки моей музыкальной шкатулки, шепните это желание на ушко вашему малышу — и оно исполнится».

С этими словами он поспешно откланялся, вместе с ним ушла и старуха, а госпожа Элизабет осталась одна, услышанное поразило ее, и, если бы в колыбельке не лежали два талера, а на столе не стоял пирог, — она решила бы, что все это ей приснилось. И вот села она у колыбельки и принялась баюкать свое дитя и замечталась, придумывая желания — одно заманчивее другого. Сначала она хотела пожелать ему богатства, потом — красоты, потом — недюжинной силы или необычайной мудрости, но все не могла ни на чем остановиться и наконец подумала: да нет, старичок,

наверное, просто пошутил.

Тем временем уже стемнело, и она задремала, сидя у колыбели, утомясь и от гостей, и от забот минувшего дня, и от своих раздумий, как вдруг донеслась из дома по соседству тихая, чудесная музыка, да такая нежная и пленительная, какой ей ни разу не доводилось слышать. При этих звуках госпожа Элизабет очнулась, пришла в себя, теперь она уже снова верила в крестного и его подарок, но чем больше она думала об этом и чем быстрее сменяли друг друга разные желания, тем больше путались ее мысли, и она ни на что не могла решиться. Она совершенно измучилась, слезы стояли у нее в глазах, но тут музыка стала затихать, и она подумала, что если сию минуту не загадает желание, то будет поздно и.тогда все пропало.

Она тяжело вздохнула, наклонилась над малышом и шепнула ему на ушко: «Сыночек мой, я тебе желаю, я желаю тебе...» — и когда прекрасная музыка, казалось, совсем уже стихла, она испугалась и быстро проговорила: «Желаю тебе, чтобы все-все люди тебя любили».

Звуки музыки смолкли, и в темной комнате стояла мертвая тишина. Она же бросилась к колыбели, и заплакала, и запричитала в страхе и смятении: «Ах, сыночек, я пожелала тебе самое лучшее, что я знаю, но, может быть, я все же ошиблась? Ведь даже если все-все люди будут тебя любить, никто не будет любить тебя сильнее матери».

И вот Август стал подрастать и ничем поначалу не отличался от других детей; это был милый белокурый мальчик с голубыми дерзкими глазами, которого баловала мать и любили все вокруг. Госпожа Элизабет очень скоро заметила, что желание, загаданное ею в день крещения младенца, сбывается, ибо едва только мальчик выучился ходить и стал появляться на улице, то он всем людям, которые видели его, казался на редкость красивым, смелым и умным, и каждый здоровался с ним, трепал по щеке, выказывая свое расположение. Молодые матери улыбались ему, пожилые женщины дарили яблоки, а если он совершал гадкий поступок[2], никто не верил, что он мог такое сотворить, если же вина его была неоспорима, люди пожимали плечами и говорили: «Невозможно всерьез сердиться на этого милого мальчика».

К его матери приходили люди, которых привлекал хорошенький мальчик, и если раньше ее никто не знал и мало кто шил у нее, то теперь все знали ее как мать «того самого» Августа и покровителей у нее стало гораздо больше, чем она могла вообразить себе когда-то.

И ей и мальчику жилось хорошо, и куда бы они ни приходили, всюду им были рады, соседи приветливо кивали им и долго смотрели вслед

счастливцам.

Августа больше всего на свете привлекал дом по соседству, где жил его крестный: тот время от времени звал его по вечерам к себе; у него было темно, и только в черной нише камина тлел маленький красный огонек, и маленький седой старичок усаживался с ребенком на полу на шкуре, и смотрел вместе с ним на безмолвное пламя, и рассказывал ему длинные истории. И порой, когда такая вот длинная история близилась к концу, и малыш совсем уже засыпал, и в темной тишине, с трудом открывая слипающиеся глаза, всматривался в огонь, — тогда возникала из темноты музыка, и если оба долго молча вслушивались в нее, то комната внезапно наполнялась невесть откуда взявшимися маленькими сверкающими младенцами, они кружили по комнате, трепеща прозрачными золотистыми крылышками, сплетаясь в прекрасном танце в пары и хороводы, и пели; они пели, и сотни голосов сливались в единую песнь, полную радости и красоты. Прекраснее этого Август никогда ничего не видел и не слышал, и если он потом вспоминал о своем детстве, то именно тихая, сумрачная комната старичка крестного, и красное пламя камина, и эта музыка, и радостное, золотое, волшебное порхание ангелочков всплывали в его памяти и пробуждали тоску в его сердце.

Между тем мальчик подрастал, и у матери теперь бывали иногда минуты, когда она печалилась, вспоминая о той самой ночи после крещения сына. Август весело носился по окрестным переулкам, и ему везде были рады, его щедро одаривали орехами и грушами, пирожными и игрушками, его кормили и поили, сажали на колени, позволяли рвать цветы в саду, и нередко он возвращался домой лишь поздно вечером и недовольно отодвигал в сторону тарелку с супом. Если же мать была расстроена этим и плакала, ему становилось скучно, и он с обиженным видом ложился спать; а когда она как-то раз отругала и наказала его, он поднял страшный крик и повторял, что все-все с ним добры и милы, одна только мать его не любит. И часто теперь она бывала огорчена и иногда всерьез гневалась на своего мальчика, но, когда вечером он уже спал в мягких подушках и мерцание свечи озаряло безмятежное лицо ребенка, ее сердце смягчалось, и она целовала его — осторожно, чтобы не разбудить. Она сама виновата была в том, что Август нравился всем людям, и подчас она с горечью и даже с каким-то страхом думала о том, что, может быть, было бы лучше, если бы она никогда не загадывала этого желания.

Однажды стояла она у окна дома господина Бинсвангера, уставленного геранями, и срезала маленькими ножничками увядшие цветы, и вдруг услышала голос своего сына, доносящийся с заднего двора. Она выглянула

из-за угла, чтобы узнать, что там такое. Ее сын стоял, прислонившись к стене, и она видела его красивое, слегка капризное лицо, а перед ним стояла девочка, старше него, она смотрела на него с мольбой и говорила: «Пожалуйста, поцелуй меня!»

- Не хочу, сказал Август и засунул руки в карманы.
- Ну я прошу тебя, снова сказала она, а я тебе кое-что дам, очень хорошее.
 - А что? спросил мальчик.
 - У меня есть два яблока, робко сказала она.

Но он отвернулся и скорчил недовольную гримасу.

— Яблоки л вообще не люблю, — презрительно сказал он и хотел было убежать прочь.

Но девочка схватила его за руку и проговорила в надежде подольститься к нему:

- Ну и что, а у меня зато колечко есть, очень красивое.
- А ну, покажи! сказал Август.

Она показала ему колечко, он придирчиво осмотрел его, стянул с ее пальчика и надел на свой, затем полюбовался им на свету и остался очень доволен.

- Ладно, так и быть, один раз я тебя поцелую, сказал он немного погодя и быстро поцеловал девочку в губы.
- Пойдем, поиграем вместе! доверчиво сказала она и взяла его под руку.

Но он оттолкнул ее и грубо крикнул:

— Отстанешь ты от меня или нет! У меня и без тебя много знакомых, с которыми можно поиграть.

Пока девочка, заливаясь слезами, медленно шла по двору, мальчик стоял с сердитым скучающим видом, потом повертел кольцо у себя на пальце, рассмотрел его со всех сторон и, насвистывая, медленно пошел прочь.

А его мать стояла, не шевелясь, с садовыми ножницами в руках; она была напугана жестокостью и презрением, с которым ее дитя принимало любовь других людей. Она забыла про цветы и стояла, качая головой, и все повторяла про себя: «Какой же он злой, у него каменное сердце».

Но в скором времени, когда Август пришел домой и она призвала его к ответу, он со смехом посмотрел на нее голубыми глазами, не чувствуя за собой никакой вины, а затем принялся что-то напевать, стал ластиться к матери и был так мил, забавен и нежен с нею, что она тоже невольно рассмеялась и подумала, что не ко всему в детской жизни следует

относиться так серьезно.

Между тем мальчику не всегда сходили с рук его каверзы. Крестный Бинсвангер был единственным человеком, к которому он питал почтение, и если порой он приходил к нему, а крестный говорил: «Сегодня огонь в камине не горит и не звучит музыка, а маленькие ангелочки очень огорчены, потому что ты поступил нехорошо», — тогда мальчик уходил, бросался на постель и плакал, а на следующий день изо всех сил старался быть хорошим и добрым.

Но как бы то ни было, огонь в камине горел все реже и реже, ни слезы, ни ласки не помогали, крестный был неумолим. Когда Августу сровнялось двенадцать лет, волшебный полет ангелочков в комнате крестного превратился уже в далекий сон, и если ночью ему снилось что-нибудь подобное, на следующий день его особенно одолевала ярость, и он громко кричал и командовал своими многочисленными приятелями налево и направо, точно полководец.

Его матери давно уже надоело слышать ото всех похвалы своему мальчику — мол, какой он нежный да ласковый, — слишком много приходилось ей терпеть от него. И когда в один прекрасный день его учитель пришел к ней и поведал, что некий человек изъявил готовность снарядить мальчика в дальние края, в хорошую школу, и платить за его учение, — госпожа Элизабет посоветовалась с соседом, и в скором времени, весенним утром, к дому подкатила коляска, и Август, в новом, красивом платье, сел в нее и пожелал счастливо оставаться и своей матери, и крестному, и соседям: ведь ему было дозволено ехать в столицу — на учение. Мать в последний раз причесала его белокурые волосы и благословила его, лошади тронулись, и Август отбыл в дальние края.

Прошли годы, юный Август сделался уже студентом, носил красную фуражку и усы; и вот однажды пришлось ему снова оказаться в родных местах, потому что из письма крестного он узнал, что мать его тяжело больна и долго не проживет. Юноша приехал вечером, и соседи с восхищением наблюдали, как он выбирается из коляски и как кучер несет за ним большой кожаный чемодан. А умирающая мать лежала в старой комнатушке с низкими потолками, и когда красавчик студент увидел в белых подушках ее белое увядшее лицо, а она лишь безмолвно и тихо смотрела на него, — тогда он с рыданиями опустился на край ложа, и целовал холодные руки матери, и простоял около нее на коленях всю ночь, пока руки ее не окоченели и глаза не угасли.

А когда они похоронили его матушку, крестный взял его за руку и повел в свой домишко, который казался теперь молодому человеку еще

меньше и темнее, и лишь от маленьких окон шел едва заметный свет; и тут маленький старичок слегка пригладил костлявыми пальцами свою седую бороду и сказал Августу: «Я зажгу огонь в камине, тогда мы обойдемся без лампы. Я ведь знаю, завтра ты уезжаешь, а теперь, когда матушки твоей уже нет в живых, мы с тобой не так-то скоро увидимся».

Говоря все это, он развел огонь в камине, придвинул поближе свое кресло, а студент — свое, и вот опять они сидели долго-долго и все смотрели на тлеющие угли, и, когда пламя почти угасло, старик тихо проговорил: «Прощай, Август, я желаю тебе добра. У тебя была замечательная мать, и ты даже не подозреваешь, что она для тебя сделала. Я бы с радостью еще разок позабавил тебя музыкой и показал тебе маленьких ангелочков, но ты ведь сам знаешь, что это невозможно. И всетаки ты должен всегда помнить о них и знай, что однажды они вновь запоют и, может статься, ты их снова услышишь, если пожелает этого твое сердце, исполненное одиночества и тоски. А теперь дай мне руку, мой мальчик, я ведь стар, и сейчас мне пора уже на покой».

Август протянул ему руку, он не мог вымолвить ни слова, с печалью в сердце вернулся он в свой опустевший дом и в последний раз лег спать в комнате своего детства, и, когда он уже засыпал, где-то совсем далеко послышалась ему тихая, сладостная музыка минувших лет. Наутро он уехал, и долгое время никто ничего не слыхал о нем.

Вскоре он позабыл и крестного Бинсвангера, и его ангелочков. Кипучая жизнь бурлила вокруг него, и он плыл по ее волнам. Никто на свете не умел так лихо проскакать по гулким переулкам и насмешливым взором окинуть глазеющих на него девиц, никто не умел так легко и грациозно танцевать, так ловко восседать на козлах, так буйно и безалаберно прокутить в саду всю длинную летнюю ночь напролет. Одна богатая вдова, любовником которой он был, давала ему деньги, платье, лошадей и все, чего только он желал; с нею он ездил в Париж и Рим, спал в ее устланной шелками постели, но сам он был влюблен в хрупкую белокурую дочку одного бюргера. Пренебрегая опасностью, встречался он с нею по ночам в саду ее отца, а она писала ему длинные страстные письма, когда он бывал в отъезде.

Но однажды он не вернулся. Он нашел в Париже новых друзей, и, поскольку богатая любовница ему надоела, а занятия в университете давно наскучили, он остался в чужих краях и зажил так, как это принято в высшем свете: завел лошадей, собак, женщин, проигрывался в пух, а потом срывал большие куши; и повсюду находились люди, которые бегали за ним, как преданные псы, угождали ему, а он только улыбался и принимал все это

как должное, — так, как некогда взял он кольцо у маленькой девочки. Колдовская сила материнского желания горела у него в глазах, сияла на губах, женщины любили его, друзья обожали, и никто не видел — да и сам он едва ли чувствовал, — как сердце его опустошается и черствеет, в то время как душа изъедена тяжким недугом. Порой ему надоедала эта всеобщая любовь и, переодевшись в чужое платье, он отправлялся странствовать по чужим городам и повсюду обнаруживал, что люди глупы и слишком уж легко покоряются ему, и повсюду смешной казалась ему любовь, которая так упорно преследовала его и довольствовалась столь малым. Отвращение вызывали у него женщины и мужчины, у которых недостает гордости, и целыми днями бродил он в одиночестве вместе со своими собаками далеко в горах, по диким охотничьим тропам, и какойнибудь олень, которого он выследил и подстрелил, приносил ему больше радости, чем любовь красивой избалованной женщины.

И вот однажды, путешествуя морем, он увидал молодую жену посланника, строгую стройную даму, высокородную уроженку северных краев; она стояла среди других благородных дам на удивление отчужденно, гордо и замкнуто, как будто здесь ей не было равных, и, когда он увидел ее и как следует разглядел, когда заметил, что взор ее и по нему скользнул, казалось, лишь бегло и равнодушно, он почувствовал, что такое любовь, — и он решил во что бы то ни стало завоевать ее любовь; и с той поры неизменно, дни напролет был рядом с нею — так, чтобы она всегда его видела, а поскольку он сам постоянно окружен был восторженными поклонниками и поклонницами, которые искали его общества, то вместе со своей прекрасной гордячкой оказывался в центре всего блестящего общества и стоял, словно князь со своей княгиней, и даже муж северной красавицы отличал его среди прочих и силился понравиться ему.

Ни разу не удавалось ему оказаться наедине с незнакомкой, пока в одном из южных портовых городов все общество не сошло с корабля, чтобы несколько часов побродить по чужому городу и вновь ощутить под ногами твердую землю. Он не отставал от своей возлюбленной, и наконец ему удалось задержать ее, увлеченную беседой, в пестрой толпе на рыночной площади. Бесчисленное множество узких, глухих переулков выходило на эту площадь, в один из таких переулков он и привел ее, а она доверчиво шла за ним, но, когда она вдруг почувствовала, что осталась с ним одна, и испугалась, не находя вокруг себя привычного общества, он в пламенном порыве повернулся к ней, сжал ее дрожащую ручку и стал умолять остаться на берегу и бежать вместе с ним.

Незнакомка побледнела и не поднимала на него глаз. «О, вы ведете

себя не по-рыцарски, — тихо сказала она. — Давайте забудем то, что вы только что сказали!»

«Я не рыцарь, — воскликнул Август, — я влюблен, а влюбленный не знает ничего, кроме своей возлюбленной, и у него одна мечта — быть рядом с нею. О прекрасная моя, останься со мной, мы будем счастливы».

Ее серо-голубые глаза смотрели на него строго и осуждающе. «Откуда вам стало известно, — жалобно прошептала она, — что я люблю вас? Я не могу молчать: вы нравитесь мне, и в мечтах я часто представляла вас своим мужем. Потому что вы первый, кого я полюбила по-настоящему, всем сердцем. Ах, оказывается, любовь может так страшно ошибаться! Разве могла я подозревать, что способна полюбить человека недоброго и испорченного! Но в тысячу раз сильнее во мне желание остаться с моим мужем, которого я почти не люблю, — но он рыцарь и знает, что такое честь и благородство, которые вам неведомы. А теперь прошу вас не говорить мне больше ни слова и доставить меня обратно на корабль, иначе я позову на помощь посторонних, чтобы спастись от вашей дерзости».

И как он ни молил, как ни скрежетал зубами от отчаяния, она уже отвернулась от него и так бы и ушла одна, если бы он молча не нагнал ее и не проводил на корабль. Затем он приказал выгрузить свои чемоданы на берег, ни с кем не попрощался и исчез.

С тех пор счастье отвернулось от всеобщего любимца. Добродетель и честность сделались ему ненавистны, и он топтал их ногами и находил особое удовольствие в том, чтобы совращать добродетельных женщин, употребляя все искусство своей чарующей силы, или беззастенчиво пользовался добротой преданных ему честных людей, которых он быстро завоевывал, а потом издевательски бросал. Он делал несчастными женщин и девушек, а затем предавал их всеобщему позору, он выбирал себе юношей из самых именитых домов и совращал их. Не было такого наслаждения, к которому бы он не стремился и не испытал на себе, не было такого порока, которому бы он не предался и которым бы не насытился. Но никогда уже не наполнялось радостью его сердце, а на любовь, которую все предлагали ему, ничто не отзывалось в его душе.

В прекрасном загородном доме у моря жил он, мрачный и всем недовольный, и мучил самыми безобразными выходками женщин и друзей, которые к нему приходили. Ему хотелось унижать людей так, чтобы они чувствовали все его презрение к ним; он пресытился и тяготился той непрошеной, нежеланной, незаслуженной любовью, которой он был окружен, он ощущал никчемность своей попусту растраченной жизни, которая никогда не отдавала, а только брала. Иногда он заставлял себя

долгие дни обходиться без пищи, чтобы хоть раз вновь ощутить настоящий голод и испытать потребность в насыщении.

И вот с некоторых пор прошел среди его друзей слух, что он болен и нуждается в покое и одиночестве. Приходили письма, которых он не читал, обеспокоенные люди справлялись у прислуги о его здоровье. Он же сидел один в своем доме у моря, погруженный в угрюмую печаль, жизнь его лежала позади, пустая и разоренная, бесплодная и бесчувственная, без единого следа любви, подобная серым соленым мертвым волнам морской пучины. И мерзок был вид этого человека, сидящего в кресле у высокого окна и сводящего счеты с самим собой. Белые чайки, влекомые береговым ветром, проносились мимо, он следил за ними пустым взглядом, лишенным всякой радости и всякого интереса. Лишь губы его покривились в жесткой и злой усмешке, когда он все обдумал и позвонил камердинеру. И вот велел он пригласить всех своих друзей в определенный день на праздник; но не пировать он собирался, в его издевательский замысел входило напугать приглашенных видом пустого дома и своего собственного трупа. Ибо он решил принять яд и покончить с собой.

Вечером перед задуманным праздником он отпустил всю прислугу, и наконец тихо сделалось в просторных комнатах, и он направился в спальню, подмешал сильного яду в стакан кипрского вина и поднес его к губам.

Но не успел он сделать первый глоток, как в дверь постучали, и, поскольку он не ответил на стук, дверь тихонько отворилась и в комнату вошел маленький старичок. Подошел он к Августу, бережно взял у него из рук полный стакан и проговорил хорошо знакомым голосом: «Добрый вечер. Август, как поживаешь?»

Застигнутый врасплох Август, рассерженный и смущенный одновременно, язвительно усмехнулся и сказал: «Господин Бинсвангер, разве вы еще живы? Давненько мы не виделись, а вы, кажется, нисколько не постарели? Но сейчас, любезнейший, вы мне очень помешали, я устал сегодня и как раз собирался принять снотворное».

«Да, я вижу, — спокойно отвечал крестный. — Ты хотел принять снотворное, и правильно — это единственный напиток, который еще может тебе помочь. Но прежде мы с тобой немножко поболтаем, мальчик мой, — кстати, я немного утомился с дороги и думаю, что не прогневаю тебя, если освежусь глоточком из твоего стакана».

С этими словами он взял стакан и поднес к губам, и не успел Август его остановить, как старик осушил его одним глотком.

Август побледнел как полотно. Он ринулся к крестному, принялся

трясти его за плечи и пронзительно закричал: «Дорогой мой, знаешь ли ты, что ты выпил?»

Господин Бинсвангер кивнул своей умной седой головой и улыбнулся: «Да, это кипрское вино, да и недурное, сколько я могу судить. Похоже, живешь ты безбедно. Но у меня мало времени, и я не собираюсь долго тебя задерживать, если ты согласишься меня выслушать».

Август, совершенно сбитый с толку, с ужасом смотрел в светлые глаза крестного и каждую секунду ожидал, что тот свалится замертво.

Крестный тем временем устроился поудобнее на стуле и добродушно подмигнул своему молодому другу.

«Ты опасаешься, что глоток вина мне повредит? Не беспокойся! Как мило с твоей стороны, что ты печешься обо мне, вот уж никак не ожидал. Но давай-ка побеседуем, как в добрые старые времена! Сдается мне, что ты уже по горло сыт легкой жизнью? Я тебя понимаю, и, когда я уйду, ты можешь, кстати, снова наполнить свой стакан и выпить его. Но прежде я хочу кое-что тебе рассказать».

Август прислонился к стене и вслушивался в мягкий, приятный голос древнего старичка, который знаком был ему с первых лет жизни и пробуждал тени прошлого в его душе. Стыд и скорбь глубоко проникли в его сердце, словно он заглянул в глаза своему невинному детству.

«Я выпил яд из твоего стакана, — продолжал старик, — потому что только я повинен в твоем несчастье. Твоя мать, заботясь о твоем будущем, загадала одно желание, когда крестила тебя, глупое желание, но я постарался исполнить его ради нее. Тебе ни к чему знать, что это за желание, но оно сделалось твоим проклятьем, да ты и сам это почувствовал. Мне жаль, что так получилось. Ты знаешь, я был бы очень рад, если бы мне привелось дожить до того дня, когда ты вместе со мною сядешь у камина и вновь услышишь пение ангелов. Это очень нелегко, и сейчас тебе, наверное, кажется невероятным, что твое сердце станет вновь здоровым, чистым и радостным. Но ничего невероятного в этом нет, и я лишь прошу тебя — попробуй! Желание твоей бедной матери не принесло тебе счастья, Август. Позволь мне выполнить для тебя еще одно желание! Ты не пожелаешь ни денег, ни ценностей; и ни власть, ни женская любовь тебе тоже не нужны, ты ведь пресытился ими. Подумай хорошенько, и если тебе покажется, что ты знаешь то волшебное средство, которое способно исправить твою разбитую жизнь и вернуть тебе радость, — тогда загадай свое желание!»

Погруженный в глубокое раздумье, молча сидел Август и наконец спустя некоторое время сказал: «Благодарю тебя, крестный, но я думаю,

что из осколков разбитой моей жизни уже не склеить прекрасный сосуд. Лучше будет, если я исполню то, что задумал. Но я благодарю тебя за твой приход».

«Конечно, — задумчиво произнес старик, — я хорошо понимаю, каково тебе. Но, может быть, ты найдешь в себе силы, Август, и обдумаешь все еще раз, и догадаешься, чего тебе больше всего не хватало, или, быть может, тебе вспомнятся прежние времена, когда матушка твоя была еще жива и ты иногда по вечерам приходил ко мне. Ведь ты бывал тогда счастлив, разве нет?»

«Да, я помню, — кивнул Август, и картины лучезарного утра его жизни поплыли перед ним, далекие и туманные, как в старинном тусклом зеркале. — Но прошлое не вернуть. Я же не могу пожелать снова превратиться в маленького мальчика. Да, вот тогда можно было бы начать все сызнова!»

«Нет, это глупо, ты прав. Но попробуй еще раз вспомнить о часах, проведенных у меня дома, и о бедной девушке, с которой ты по ночам встречался в саду, когда был студентом, и о той прекрасной белокурой даме, с которой ты когда-то путешествовал вместе по морю; вспомни все те мгновения, когда ты был счастлив и когда жизнь казалась тебе стоящим делом. И тогда ты, может быть, поймешь, что же делало тебя счастливым, и сможешь загадать свое желание. Сделай это для меня, мой мальчик!»

Август закрыл глаза и постарался вглядеться в свою минувшую жизнь так, как вглядываемся мы из темноты узкого, длинного коридора в тот крохотный уже квадратик света, который обозначает выход; и вновь увидел он, как светло и прекрасно было все некогда в его жизни и как постепенно тьма все сгущалась и сгущалась вокруг него, пока он наконец не оказался в полном мраке, лишенный всякой радости. И чем дольше он думал и припоминал, тем прекраснее, и милее, и желаннее казался ему далекий маленький светлый квадратик, и наконец он понял, что это такое, и слезы хлынули у него из глаз.

«Я попробую, — сказал он крестному. — Сними с меня прежние чары, которые мне не помогли, и сделай так, чтобы я сам наполнился любовью к людям!»

Обливаясь слезами, опустился он на колени перед своим старым другом и, склоняясь перед ним, вдруг почувствовал, как, мучительно ища забытых слов и жестов, пылает в нем любовь к этому старику. Крестный же, этот тщедушный старикашка, бережно взял его на руки, перенес на ложе, уложил и отер пот с его разгоряченного лба.

«Все хорошо, — тихо прошептал он, — все хорошо, дитя мое, у тебя

все будет хорошо».

Тут Август почувствовал, как тяжелая усталость навалилась на него, будто в одно мгновение он постарел на много лет, и тут он погрузился в глубокий сон, а старик тихонько удалился из заброшенного дома.

Август пробудился от неистового шума, который гулко отзывался во всем доме, а когда он поднялся и отворил дверь в соседнюю комнату, то обнаружил, что гостиная и все прочие покои полны его прежними друзьями, которые явились на праздник и увидели, что дом пуст. Все были огорчены и задеты, и он пошел к ним навстречу, чтобы, как прежде, улыбкой и шуткой вернуть их расположение, но внезапно почувствовал, что утратил власть над ними. Едва они заметили его, как тотчас обрушились на него с упреками, когда же он беспомощно улыбнулся и, как бы ища поддержки, протянул руки им навстречу, они яростно накинулись на него.

«Эй ты, мошенник, — вопил один, — где деньги, которые ты мне задолжал?» Другой кричал: «А где лошадь, которую я тебе на время дал?» А одна прелестная разъяренная дама пеняла ему: «Всему свету известны теперь мои секреты, которые ты разболтал. О, как я ненавижу тебя, трус несчастный!» Юноша с глубоко запавшими глазами и искаженным от злобы лицом кричал: «Знаешь ли ты, что ты со мной сделал, дьявол проклятый, гнусный развратник?»

Обвинениям не было конца, и каждый старался полить его грязью, и все говорили правду, и многие из них сопровождали свои слова пинками, а когда они ушли, разбив по пути зеркало и прихватив с собой ценные вещи, Август поднялся с пола, избитый и обесчещенный, и когда он вернулся в спальню и глянул в зеркало, собираясь умыться, то из зеркала смотрело на него увядшее безобразное лицо, красные глаза слезились, а из ссадины на лбу сочилась кровь.

«Это возмездие», — сказал он сам себе и смыл с лица кровь, но не успел он хоть немного прийти в себя, как в доме вновь поднялся переполох, по лестницам к нему взбирались: ростовщики, которым он заложил дом, некий супруг, жену которого он соблазнил, отцы, сыновей которых он вовлек в порок и сделал несчастными, уволенные им слуги; в дом ворвались полицейские и адвокаты, и час спустя он сидел уже в специальной карете, и его везли в тюрьму. Люди что-то выкрикивали ему вслед и пели о нем похабные песни, а какой-то уличный мальчишка бросил через окно кареты ком грязи прямо ему в лицо.

И теперь гнусные дела этого человека были у всех на устах, и слухи о них заполонили весь город, где все его прежде знали и любили. Его

обвиняли во всех мыслимых пороках, и он ничего не отрицал. Люди, о которых он и думать забыл, являлись в суд и рассказывали о преступлениях, которые он совершил несколько лет назад; слуги, которым он щедро платили которые вдобавок обкрадывали его, смаковали подробности его порочных увлечений, и на лице каждого читалось отвращение и ненависть; и не было человека, который заступился бы за него, похвалил бы его, простил, кто сказал бы о нем доброе слово.

Он вытерпел все, он покорно шел за стражниками в камеру и покорно стоял перед судьей и свидетелями; с удивлением и печалью устало смотрел он на все эти злобные, возмущенные лица и в каждом из них за маской ненависти и уродства видел тайное очарование любви, и сияние доброты было в каждом сердце. Все они некогда любили его, он же не любил никого, а теперь он прощал их всех и пытался найти в своей памяти хоть что-нибудь хорошее о каждом из них.

В конце концов его заточили в тюрьму, и никто не имел права навещать его; и вот в лихорадочном бреду он вел беседы со своей матушкой, и со своей первой возлюбленной, и с крестным Бинсвангером, и с северной красавицей, а когда приходил в себя и целыми днями сидел, одинокий и всеми покинутый, то его терзали все муки ада, он изнемогал от тоски и заброшенности и мечтал увидеть людей — с такой страстью и силой, с какими не жаждал ни одного наслаждения и ни одной вещи.

Когда же его выпустили из тюрьмы, он был уже стар и болен, и никто вокруг не знал его. Все в мире шло своим чередом; в переулках гремели повозки, скакали всадники, прогуливались прохожие, продавались фрукты и цветы, игрушки и газеты, и только Августа никто не замечал. Прекрасные дамы, которых он когда-то, упиваясь музыкой и шампанским, держал в своих объятьях, проезжали мимо него, и густое облако пыли, вьющееся позади экипажей, скрывало их от Августа.

Однако ужасная пустота и одиночество, от которых задыхался он в разгар самой роскошной жизни, полностью покинули его. Когда он подходил к воротам какого-нибудь дома, чтобы ненадолго укрыться от палящего солнца, или просил глоток воды на заднем дворе, то с удивлением видел, с какой враждебностью и с каким раздражением обходились с ним люди, — те самые люди, которые прежде благодарным сиянием глаз отвечали на его строптивые, оскорбительные или равнодушные речи.

Его же теперь радовал, занимал и трогал любой человек; он смотрел, как дети играют и как они идут в школу, — и любил их, он любил стариков, которые сидели на скамеечках перед своими ветхими домишками и грелись на солнце. Когда он видел молодого парня, который влюбленными глазами

провожал девушку, или рабочего, который, вернувшись с работы, брал на руки своих детей, или умного, опытного врача, который проезжал мимо него в карете, погруженный в мысли о своих больных, или даже — бедную, худо одетую уличную девку, которая где-нибудь на окраине стояла под фонарем и приставала к прохожим и даже ему, отверженному, предлагала свою любовь, — и вот, когда он встречался с ними со всеми, — все они были для него братья и сестры, и каждый нес в своей груди воспоминание о любимой матери и о своем лучезарном детстве или тайный знак высокого и прекрасного предназначения и казался ему необыкновенным, и каждый привлекал его и давал пищу для размышлений, и ни один не был хуже его самого.

Август решил пуститься, в странствия по свету и найти такой уголок, где он смог бы принести пользу людям и доказать свою любовь к ним. Ему пришлось привыкнуть к тому, что вид его уже никого не радовал: щеки его ввалились, одет он был как нищий, и ни голос, ни походка его не напоминали уже никому того, прежнего Августа, который некогда радовал и очаровывал людей. Дети боялись его, их пугала его длинная свалявшаяся седая борода, чисто одетая публика сторонилась его, словно опасаясь запачкаться, а бедные не доверяли ему, чужаку, который мог отнять у них последний кусок хлеба. Но он научился никогда не отчаиваться, да и не позволял себе этого. Он замечал, что маленький мальчик тщетно пытается дотянуться до дверной ручки в кондитерской, — вот тут он мог прийти на помощь. А иногда ему попадался человек, который был еще несчастнее его самого, какой-нибудь слепой или увечный, которому он мог подать руку или еще чем-нибудь помочь. А если и этого не доставалось ему на долю, он с радостью отдавал то немногое, что имел, — ясный, открытый взгляд, доброе слово, улыбку понимания и сочувствия. Своим собственным умом и опытом дошел он до особого умения — угадывать, чего ждут от него люди и что может принести им радость: одному хотелось услышать звонкие радостные слова привета, другому хотелось молчаливого участия, третьему же — чтобы его оставили в покое и не мешали. И каждый день ему приходилось удивляться, сколько бед и несчастий на свете и как тем не менее легко принести людям радость; и с восторгом и счастьем он вновь и вновь наблюдал, как рядом со страданием живет веселый смех, рядом с погребальным звоном — детская песенка, рядом с нуждой и подлостью достоинство, остроумие, утешение, улыбка.

И казалось ему теперь, что жизнь человеческая сама по себе замечательна. Когда ему навстречу из-за угла неожиданно выскакивала стайка школьников — какая отвага, какая юная жажда жизни, какая

молодая прелесть блестела в их глазах; пускай эти сорванцы дразнят его и смеются над ним — это ничего, что тут плохого, он и сам готов был их понять, когда видел свое отражение в витрине или в воде колодца, — ведь он и вправду был смешным и убогим на вид. Нет, теперь ему вовсе не хотелось понравиться людям или испытать свою власть над ними — эту чашу он уже испил до дна. Для него было теперь возвышающим душу наслаждением наблюдать, как другие стремятся идти и идут тем путем, которым некогда шел он сам, видеть, с каким пылом, с какой дерзкой силой и радостью сражаются люди, чтобы добиться своей цели, — все это было для него необыкновенным спектаклем.

Между тем настала зима, а за нею снова лето; Август заболел и долгие дни провел в лечебнице для бедных, где испытал тихое и благодарное счастье, когда видел, как бедные, униженные люди хватаются за жизнь, напрягая все свои силы, собирая всю свою волю к жизни, — и побеждают смерть. Как величественно было это зрелище — спокойное терпение на лице тяжелобольного и светлая радость жизни, озаряющая лицо исцеленного, и прекрасны были спокойные, исполненные достоинства лица умерших, но чудеснее всего были любовь и терпение милых опрятных сиделок. Потом и эта пора миновала, задул осенний ветер, и Август продолжил свой путь; он спешил дальше, навстречу зиме, и странное нетерпение овладело им, когда он заметил, до чего медленно продвигается вперед, а ведь ему хотелось побывать всюду и еще многим-многим людям заглянуть в глаза. Голова его поседела, глаза робко улыбались из-под красных больных век, постепенно слабела память, и ему казалось теперь, что всегда он видел мир так, как видит сейчас; но он был доволен жизнью и считал, что в мире все прекрасно и достойно любви.

И вот с наступлением зимы добрался он до одного города; по темным улицам мела метель, и парочка заигравшихся допоздна мальчишек принялась кидаться снежками в странника, но больше ничто не нарушало вечерней тишины. Август очень устал и, блуждая, попал наконец в какой-то узкий переулок, и показался ему этот переулок издавна знакомым, потом свернул он в другой переулок — и очутился перед домом своей матери, а по соседству увидел дом крестного Бинсвангера; маленький и ветхий, стоял этот домишко в холодной, снежной замети, и горело у крестного окно, и красноватый свет его мирно сиял в зимней ночи.

Август отворил входную дверь и постучал, и маленький старичок вышел ему навстречу и молча провел его в свою комнату, и было там тепло и покойно, и маленький ясный огонек пылал в камине.

[—] Ты голоден? — спросил крестный. Но Август не чувствовал голода,

он только улыбнулся и покачал головой.

- Но ты ведь устал, я знаю, сказал тогда крестный и расстелил на полу старую шкуру, и два старика уселись на нее друг подле друга и стали смотреть в огонь.
 - Долго же ты добирался сюда, сказал крестный.
- Зато это был замечательный путь, и я лишь немного утомился. Можно, я у тебя заночую? А утром отправлюсь дальше.
- Да, милый. A разве ты не хочешь снова увидеть, как танцуют ангелы?
- Ангелы? Да, конечно, хотел бы если бы я смог вновь превратиться в маленького мальчика!
- Мы давно с тобою не видались, вновь заговорил крестный. Ты так изменился, ты стал таким красивым, в твоих глазах снова доброта и мягкость, как в прежние времена, когда твоя матушка еще была жива. И ты хорошо сделал, что навестил меня!

Странник в рваных одеждах обессиленно поник рядом со своим другом. Еще никогда не ощущал он такой усталости, а благостное тепло и мерцание огня совсем затуманили ему голову, и он не мог уже ясно отличить прошлое от настоящего.

- Крестный, сказал он, я плохо себя вел, и мама опять плакала. Поговори с ней, скажи ей, что я снова стану хорошим. Поговоришь?
- Да, ответил крестный, ты только успокойся, она ведь любит тебя.

Огонек в камине начал угасать, и Август смотрел не отрываясь на его слабое красноватое мерцание, как когда-то, в далеком детстве, и крестный положил его голову к себе на колени, и пленительная, торжествующая музыка, нежная и прекрасная, наполнила сумрачную комнату, и в воздухе замелькали тысячи сияющих легкокрылых ангелочков и закружились, причудливо сплетаясь в пары и целые хороводы. И Август смотрел и слушал, и вся его нежная детская душа распахнулась навстречу вновь обретенному раю.

Внезапно ему почудилось, будто матушка позвала его, но он слишком устал, да к тому же крестный ведь обещал ему, что он поговорит с нею. А когда он уснул, крестный сложил ему руки на груди и все прислушивался к его умиротворенному сердцу, пока в комнате не воцарилась полная тьма.

Герман Гессе. Поэт

Впервые напечатана в 1914 году и называлась «Путь к искусству». Посвящена Матильде Шварценбах. Перевод Р. Эйвадиса.

Говорят, будто китайский поэт Хань Фук[3] в молодости одержим был удивительной жаждой познать все и достичь совершенства во всем, что хоть как-нибудь связано с поэзией. В то время он еще жил у себя на родине, на берегу Желтой реки, и был помолвлен с девушкой из хорошей семьи, чего он сам пожелал и в чем помогли ему его родители, которые души в нем не чаяли, и оставалось лишь выбрать день, благоприятствующий бракосочетанию[4], чтобы начать приготовления к свадьбе. В свои двадцать лет Хань Фук был красивым юношей, скромным в речах и приятным в обхождении, сведущим в науках и, несмотря на молодость, уже стихотворцев страны благодаря известным среди нескольким превосходным стихам. Не будучи слишком богат, он все же мог небольшое состояние, которое еще увеличилось бы за счет приданого невесты, и так как невеста, кроме того, была девушкой очень красивой и добродетельной, то счастью юноши, казалось, можно было лишь позавидовать. Однако сам он не чувствовал себя до конца счастливым, ибо тщеславным сердцем его овладело желание стать непревзойденным поэтом.

И вот однажды вечером, во время праздника фонарей[5], случилось так, что Хань Фук одиноко бродил на другом берегу реки. Прислонившись к дереву, что росло над самой водой, он увидел в зеркале реки великое множество трепещущих, плывущих куда-то огней, он увидел мужчин и женщин и молодых девушек, звонко приветствующих друг друга и похожих в своих нарядных одеждах на прекрасные цветы; он услышал невнятное бормотание залитой светом реки, услышал пение, жужжание цитры и сладкие звуки флейты, и над всем этим, словно купол храма, высилась бледная ночь. И сердце юноши замерло, когда он, по воле своей прихоти уподобившись одинокому зрителю, увидел всю эту красоту. Но как ни сильно было его желание отправиться к людям и разделить с ними веселье и насладиться праздником в кругу друзей, рядом с невестой, — еще сильнее, еще неудержимее захотелось ему окинуть все это пытливым оком

наблюдателя, вобрать в себя, ничего не упустив, и отразить в стихах, исполненных совершенства, синеву ночи и пляску огней на воде, людское веселье и тоску молчаливого зрителя под сенью растущего на берегу дерева. Он почувствовал, что никакие праздники, никакое веселье на этой земле никогда до конца не избавят его сердце от тоски и печали, что даже в кипящем водовороте жизни он так и останется чужаком, одиноким зрителем; он почувствовал, что лишь душа его, одна среди множества других, устроена так, что он обречен испытывать радость при виде земной красоты и глотать одновременно горечь чужбины. И от этого ему стало необычайно грустно, он задумался о своей судьбе, и мысли его вскоре достигли своей цели: он понял, что истинное счастье и полное удовлетворение станут доступны ему лишь тогда, когда он сумеет отразить мир в своих стихах с таким невиданным мастерством, что в этих отражениях он обретет мир иной — просветленный и неподвластный времени.

Не успел Хань Фук опомниться и понять, происходит ли это во сне или наяву, как слуха его коснулся слабый шорох, и в тот же миг рядом с ним оказался незнакомый мужчина, почтенный старец в фиолетовом одеянии. Он выпрямился и почтил его приветствием так, как подобает приветствовать вельмож и старцев. Незнакомец же улыбнулся и произнес несколько стихов, в которых было все, о чем только что думал и что испытывал юноша, и стихи эти — сложенные по правилам великих мастеров — были так прекрасны, так совершенны, что юноша от изумления едва не лишился рассудка.

— Кто ты, незнакомец, читающий в моей душе, словно в книге, и слагающий стихи, прекраснее которых мне не доводилось слышать ни у одного из моих учителей? — воскликнул он и склонился в низком поклоне.

Незнакомец вновь улыбнулся улыбкой Совершенных и молвил в ответ:

— Если ты желаешь стать поэтом, приходи ко мне. Ты найдешь мою хижину у истоков большой реки в северо-западных горах. Меня зовут Мастер Божественного Слова.

И, сказав это, старик шагнул в тень, которую отбрасывал ствол дерева, и в тот же миг бесследно исчез. Напрасно озирался и искал его Хань Фук — незнакомец словно провалился сквозь землю, и юноша решил, что это и в самом деле усталость сыграла с ним странную шутку. Он поспешил к лодкам, чтобы принять участие в празднике, однако сквозь разговоры и звуки флейты ему то и дело слышался таинственный голос незнакомца, и душа его, казалось, отправилась вслед за ним, ибо он сидел, безучастный ко всему, погруженный в мечты, в самой гуще веселья, и счастливые люди

вокруг словно дразнили его своей влюбленностью в жизнь.

Спустя несколько дней отец Хань Фука решил, наконец, созвать всех друзей и родных, чтобы назначить день свадьбы. Но жених воспротивился этому и сказал:

— Прости, отец, если ты сочтешь мои речи непослушанием, нарушением того, чего вправе требовать от сына отец. Но ведь ты знаешь, как велико мое желание достичь совершенства в искусстве поэзии, и, хотя друзья мои хвалят слагаемые мною стихи, я все же знаю, что успехи мои ничтожно малы, что это лишь первые шаги на пути к совершенству. И потому я прошу тебя, позволь мне уединиться на время и заняться упражнением в искусстве создавать стихи, ибо мне кажется, что, став господином своего собственного дома и своей жены, я не смогу предаваться этим занятиям так же свободно, как теперь, когда я молод и не обременен другими заботами. Позволь мне пожить еще немного одной лишь поэзией, которая должна принести мне радость и славу.

Слова его повергли отца в изумление, и он отвечал юноше:

— Я вижу, искусство это тебе дороже всего на свете, если ради него ты готов отсрочить даже собственную свадьбу. Или, может быть, случайная ссора омрачила твою любовь к невесте? Так скажи мне об этом, и я попытаюсь помочь тебе помириться с нею или, если пожелаешь, найти другую.

Но юноша клялся, что любит свою невесту, как и прежде, что нет меж ними даже тени раздора или обид. Наконец он поведал отцу о той странной, пригрезившейся ему встрече на празднике фонарей, о великом Мастере, учеником которого он хотел бы стать и наставления которого были для него дороже всякого счастья.

- Так и быть, молвил отец. Я даю тебе еще один год. Пусть этот сон станет на время твоей путеводной звездой, быть может, он ниспослан тебе неведомым богом.
- И возможно, вместо одного мне потребуется два года, отвечал, помедлив немного, Хань Фук. Кто знает?

Опечаленный отец благословил сына, и юноша, написав невесте письмо и простившись со всеми, тронулся в путь.

После долгих скитаний он достиг истоков большой реки и вскоре увидел одинокую бамбуковую хижину, и перед хижиной на соломенной циновке сидел тот самый старик, что повстречался ему у дерева на речном берегу. Он сидел и играл на лютне, и при виде гостя, с благоговейным трепетом приблизившегося к его жилищу, он не прервал своего занятия, не поднялся ему навстречу, а лишь улыбнулся вместо приветствия, и пальцы

его еще проворнее, еще нежнее заскользили по струнам; дивная музыка, словно серебряное облако, заполнила долину, и юноша, изумленный и зачарованный, стоял и слушал, позабыв обо всем на свете, пока Мастер Божественного Слова не отложил в сторону свою маленькую лютню и не удалился в хижину. Хань Фук почтительно последовал за ним и остался у него, став отныне его слугой и учеником.

Прошел месяц, и он научился презирать свои доселе сочиненные песни, а затем и вовсе вытеснил их из своей памяти[6]. Дни слагались в недели, недели — в месяцы, и вскоре он вытеснил из своей памяти и те песни, которым его научили учителя. Мастер почти не размыкал уст[7], он молча учил его искусству игры на лютне, пока не добился желаемого: душа ученика теперь словно была соткана из музыки. Однажды Хань Фук сложил короткую песнь, в которой описал полет двух одиноких птиц в осеннем небе и которой сам остался очень доволен. Он не решился показать ее Мастеру, однако вскоре запел ее вечерней порой, устроившись неподалеку от хижины, и Мастер не мог не слышать его пения. Он не проронил ни слова. Он лишь тихонько заиграл на своей лютне, и в воздухе тотчас же разлилась прохлада, и сумерки, словно спохватившись, торопливо опустились на землю, подул сильный ветер, хоть и было это в середине лета, и по серому, словно внезапно побледневшему небу полетели две цапли, влекомые томительною жаждой странствий, и все это было настолько прекрасней и совершенней того, о чем поведал в своих стихах ученик, что тот печально умолк и почувствовал себя пустым и бесплодным. И так старик поступал с ним каждый раз, и, когда минул год, Хань Фук уже почти в совершенстве владел искусством игры на лютне — вершины же поэзии казались ему все величественней и неприступней.

Еще через год юношу охватила жгучая тоска по родным, по родине, по невесте, и он обратился к Мастеру с просьбой отпустить его домой.

Мастер молча кивнул головой и улыбнулся.

— Ты свободен, — отвечал он ему, — и вправе уйти когда пожелаешь. Ты можешь вернуться, а можешь навсегда забыть сюда дорогу — все в твоей воле.

И юноша отправился в путь и шел, не останавливаясь, без сна и отдыха, до тех пор, пока однажды и рассвете не очутился на берегу родной реки и не увидел знакомый изогнутый мостик, а за ним — город, в котором родился и вырос. Крадучись, словно вор, поспеши он к отчему дому, забрался в сад и услышал сквозь раскрытое окно спальни дыхание отца, который еще не пробудился ото сна, затем, прокравшись в сад невесты вскарабкавшись на грушевое дерево, он увидел, как невеста его

расчесывает волосы, стоя в своей маленькой комнатке. И, сравнив все это, увиденное им воочию, с той картиной, что нарисовала ему его тоска по родине, он понял, что рожден для поэзии и что в мечтах поэта есть место для такой красоты и для такого блаженства, каких вовеки не сыскать в действительности. И, спустившись с дерева, он бросился прочь из этого сада, из родного города, миновал реку и вновь возвратился в затерянную среди гор долину. И вновь, как тогда, старый Мастер сидел на циновке перед своей хижиной и перебирал пальцами струны лютни, и вместо приветствия он лишь произнес два стиха о счастье, даруемом человеку искусством, глубина и благозвучие которых полнили глаза юноши слезами.

И вновь остался Хань Фук у Мастера Божественного Слова, который теперь учил его, овладевшего секретами лютневой музыки, искусству игры на цитре, и время таяло, словно снег под дыханием западного ветра. С тех пор он еще дважды побывал в плену у тоски по родине.

В первый раз он убежал тайком, под покровом ночи, но не успел он скрыться за последним изгибом долины, как ночной ветер коснулся струн висевшей у порога цитры, и звуки, рожденные этим прикосновением, настигли его[8], и он, не в силах противиться их зову, вернулся обратно. В другой раз ему привиделось во сне, будто он посадил в своем саду молоденькое деревце и жена его стоит рядом и вместе с ним любуется, как дети его поливают дерево вином и молоком. Он проснулся: хижина была залита лунным светом. С тяжелым сердцем поднялся он со своего ложа и увидел рядом с собой Мастера, объятого безмятежным сном, седая борода подрагивала, колеблемая дыханием; и тут юношу охватила глухая ненависть к этому человеку, который, как казалось ему, разрушил его жизнь, обманом лишил его будущего. Он уже готов был броситься на старца и убить его, как тот вдруг раскрыл глаза, и на губах его засияла тонкая, полная кроткой печали улыбка, в мгновение ока остудившая гнев юноши.

- Вспомни, Хань Фук, тихо молвил старик, ты волен поступать так, как тебе заблагорассудится. Ты можешь отправиться на родину и сажать деревья, ты можешь ненавидеть меня, можешь убить меня от этого мало что изменится.
- О, как я могу ненавидеть тебя! воскликнул поэт, охваченный глубоким раскаянием. Ненавидеть тебя все равно что ненавидеть само небо!

И он остался и продолжил занятия музыкой, научился играть на цитре, затем на флейте и наконец, наставляемый Мастером, начал слагать стихи и постепенно, шаг за шагом, овладел сокровенным искусством сквозь

кажущуюся простоту и бесхитростность мысли проникать в души слушателей и сотрясать их, как ветер сотрясает кровли домов. Он воспевал приход солнца, описывал, как оно медлит, повиснув над горными кручами; он описывал бесшумную суету рыб, мечущихся, словно тени, в толщах вод, или шелест молодой ивы, раскачиваемой весенним ветром, и для тех, кто внимал ему, это было не просто солнце, не просто разыгравшиеся рыбы или шепот ветвей, — каждый раз им казалось, будто земля и небо слились на мгновение в божественной музыке, и каждый думал с отрадой и болью о том, что ему дорого или ненавистно: ребенок — о забавах, юноша — о возлюбленной, старец — о смерти.

Хань Фук давно потерял счет времени и забыл, сколько лет он прожил с учителем у истоков большой реки. Иногда ему казалось, будто он лишь вчера вечером пришел в эту долину и старик приветствовал его своей музыкой, а иногда представлялось, что за спиной у него, далеко позади, остались, давно утратив свою суть, все времена и поколения.

И вот однажды утром юноша проснулся один в старой хижине, и сколько ни искал он и ни звал своего учителя — Мастер Божественного Слова исчез без следа. Ночью незаметно подкралась осень, холодный ветер сотрясал стены хижины, а по небу тянулись за горный хребет унылые стаи перелетных птиц, хотя пора их еще не настала.

И Хань Фук, захватив с собой маленькую лютню, спустился с гор и отправился в родные места, и люди, где бы они ни повстречались ему, приветствовали, его так, как приветствуют вельмож и старцев. Когда он добрался до родного города, ни отца его, ни невесты, ни других родственников уже не было в живых и в домах их давно поселились чужие люди. Вечером все собрались у реки на праздник фонарей; поэт Хань Фук стоял в темноте на другом берегу, прислонившись к старому дереву, и, когда он заиграл на маленькой лютне, взоры женщин, устремленные в ночь, затуманились сладкой печалью, а река огласилась криками мужчин, напрасно искавших и звавших невидимого музыканта: никто из них не ведал доселе, что лютня способна так дивно звучать. Хань Фук улыбался. Он молча смотрел, как зыблется золото отраженных в воде бесчисленных фонарей, и так же, как невозможно было отличить настоящие огни от их отражений, он не находил в душе своей никакой разницы между нынешним праздником и тем, первым, когда он юношей стоял здесь и внимал речам неизвестного Мастера.

Герман Гессе. Странная весть о другой звезде

Написана в 1915 году и посвящена жене художника Альберта Вельти — Елене Вельти. Перевод В. Фадеева.

Одну из южных провинций нашей прекрасной звезды постигло страшное несчастье. Землетрясение, породившее грозовые бури и наводнения, опустошило три больших деревни со всеми садами, пашнями, лесными угодьями и плантациями. Погибло множество людей и животных, но самое прискорбное заключалось в оскудении запаса цветов, необходимых для убранства покойных и достойного украшения их могил.

Обо всем прочем, разумеется, позаботились без промедления. Глашатаи великой заповеди любви тотчас же поспешили в соседние земли, и со всех башен провинции грянул торжественный распев щемящих и просветляющих душу стихов, которые издревле были известны как дифирамб богине сострадания. И еще не было случая, чтобы кто-нибудь остался глух к ним. Из всех городов и общин потянулись на помощь люди, движимые состраданием, и вскоре те, кого несчастье лишило крова, стали теряться избытка даже душевного внимания приглашений гостеприимством воспользоваться родственника, друга ИЛИ незнакомого человека. Откуда ни возьмись появились пища и одежда, телеги и лошади, хозяйственные орудия, камни и бревна и прочие полезные вещи. И пока старики, женщины и дети, бережно поддерживаемые под руки, входили в радушно распахнутые двери чужих домов, а раненым оказывалась первая помощь, пока среди руин продолжался поиск тел погибших, работа продвинулась столь стремительно, что рухнувшие крыши были уже разобраны, шаткие стены снесены и ничто не мешало начать новое строительство. И хотя запах беды и ужаса еще висел в воздухе, а близость мертвых призывала к скорбному молчанию, все лица и выдавали душевный подъем И некую торжественность, ибо упоение общим делом и радостной убежденностью в том, что оно крайне необходимо и достойно всяческого одобрения, проникли в каждое сердце. Поначалу это выражалось робко и безмолвно,

но вскоре то тут, то там стали раздаваться воодушевленные голоса, малопомалу сливаясь в песню, столь естественную при общей работе. И неудивительно, что сильнее всего были подхвачены слова двух древних поэтических изречений: «Блажен подающий помощь тем, кто бедой повержен. Да насытится благим поступком сердце его, как засыхающий сад — первым дождем, и да будет он вознагражден цветами и благодарностью». И второе: «Божественная радость черпается в общих деяньях».

Вот тут-то и напомнила о себе горестная нужда в цветах. Покойников, найденных в первые часы, еще удалось убрать цветами и ветвями, взятыми из разоренных стихией садов. Потом пошли в дело все цветы, какие только можно было раздобыть в близлежащих селениях. Но, к довершению всех именно три пострадавшие общины славились самыми несчастий, большими и красивыми садами, дававшими цветы в это время года. Каждый год сюда издалека приезжали люди только затем, чтобы полюбоваться нарциссами и крокусами, которые лишь здесь выращивались в таком изобилии и с таким искусством, что отличались изумительным богатством оттенков. И все это было сметено и утрачено. Люди пребывали в крайнем замешательстве и не могли понять, как поступить с усопшими, не нарушая обычая который повелевал украсить торжественным цветочным нарядом каждого покойника и каждое умершее животное, а место погребения сделать тем богаче и пышнее, чем внезапнее и мучительнее была смерть.

Самый старший из старейшин провинции, чья коляска одной из первых появилась перед развалинами, был встречен таким множеством вопросов, прошений и жалоб, что ему стоило немалых усилий сохранить самообладание и приветливость. Однако он прекрасно владел своими чувствами, его глаза были светлы и ласковы, голос звучал ясно и учтиво, а губы, полуприкрытые белой бородой и усами, не забывали о спокойной и понимающей улыбке, какая подобает мудрецу и наставнику.

— Друзья мои, — сказал он, — на нашу долю выпало несчастье, которым боги желают испытать нас. Все разрушенное мы вскоре отстроим заново и вернем нашим братьям. И я благодарен богам за то, что в мои преклонные годы мне еще раз дано увидеть, как все вы, бросив свои дела, поспешили сюда, чтобы помочь нашим братьям. Но где же нам взять цветов, чтобы торжественно и с честью проводить покойных? Ведь никто среди нас не помнит случая, чтобы хоть один из опочивших был похоронен без жертвенных цветов. Полагаю, вы согласны со мной?

[—] Да! — закричали все. — Мы согласны с тобой.

— Знаю, друзья мои, — по-отечески улыбнулся старец. — Я хочу лишь сказать, что нам надобно делать. Всех, кого мы не сумели нынче похоронить, нужно перенести в большой храм Солнца, высоко в горы, где еще лежит снег. Там они будут в целости и сохранности, а тем временем мы добудем для них цветов. Есть лишь один человек, который может дать нам так много цветов в это время года, — наш король. Придется кого-то послать к нему с просьбой о помощи.

И вновь все закивали и загомонили:

- Да, да, к королю!
- Истинно так, продолжал старейшина, и каждый был награжден чудесной улыбкой, просиявшей на белобородом лице. Но кто же будет нашим посланцем? Он должен быть юн и крепок, ведь перед ним долгий путь, и ему надо дать лучшего коня. Наш посланец должен быть также хорош собой и светел сердцем, и чтобы этот свет был виден в глазах его, тогда и король поймет его сердцем. Ему не придется тратить много слов, глаза могут сказать больше. Лучше послать человека совсем еще юного, самого пригожего отрока общины. Хватит ли, однако, у него сил на такое путешествие? Вот теперь вы помогите мне, друзья мои. И если кто-то из вас возьмется за это поручение или если вы найдете такого, дайте мне знать.

Старец замолчал и обвел своим ясным взором столпившихся вокруг людей, но никто не шелохнулся, никто не подал голоса.

Когда же он повторил свой вопрос еще и еще раз, из толпы навстречу ему шагнул юноша лет шестнадцати, совсем еще мальчик. Опустив глаза в землю и покраснев от смущения, он приветствовал старейшину.

Тот взглянул на него и тотчас же понял, что лучшего посланца найти невозможно. Но все-таки с улыбкой спросил:

— Прекрасно, что ты вызвался стать нашим гонцом. Но как же так вышло, что из множества людей решился ты один?

Юноша поднял глаза на старца и сказал:

— Если никто не хочет, позвольте идти мне.

В толпе кто-то выкрикнул:

- Отправьте его, отче! Мы его знаем! Он из нашей деревни, у него смело весь сад, это был лучший цветник во всей округе!
 - Ты так печалишься о своих цветах?
- Да, печалюсь, совсем тихо проговорил мальчик. Но не из-за этого я вызвался ехать к королю. У меня был очень хороший друг и молодой красивый конь, мой любимец. Оба они погибли от землетрясения и лежат в нашем святилище. Нужны цветы, чтобы совершить погребение.

Вытянув руки, старец благословил его. Быстро был сыскан лучший конь, и, вскочив ему на спину, мальчик легонько хлопнул его по загривку и кивнул на прощание провожавшим. Выехав из деревни, он помчался прямо по затопленным и опустошенным полям.

Целый день был он в седле. Чтобы скорее попасть в далекую столицу и повидать короля, он выбрал более короткий путь, через горы, и вечером, когда уже стало смеркаться, повел коня в поводу по крутой тропе среди скал и деревьев.

Большая темная птица — он никогда не встречал таких — летела чуть впереди, и он следовал за ней, покуда птица не опустилась на крышу какого-то храма с открытым входом. Оставив коня пастись у леса, мальчик прошел меж деревянных колонн и оказался в довольно немудреном святилище. Алтарем служил простой обломок скалы, это был кусок какойто неизвестной в этих краях черной породы, и на нем был виден загадочный знак неведомого мальчику божества: сердце, терзаемое когтями хищной птицы.

Он выказал божеству свое глубокое почтение и принес ему в дар голубой колокольчик, который сорвал и воткнул в петлицу еще у подножия скалы. Потом прилег в углу храма, так как очень устал и давно хотел спать.

Но сон, незваным гостем посещавший его каждый вечер, на сей раз не шел к нему. Колокольчик ли на обломке скалы, а может быть, сам этот черный камень или какой-то иной источник издавал незнакомый и до боли глубокий запах; жуткий символ божества призрачно мерцал в темноте святилища, а на крыше сидела диковинная птица и время от времени мощно била огромными крыльями, и можно было подумать, что это ветер, шумящий в кронах деревьев.

Случилось так, что среди ночи мальчик поднялся и, выйдя из храма, начал разглядывать птицу. Она взмахнула крыльями и посмотрела на него.

- Почему ты не спишь? спросила птица.
- Не знаю, ответил мальчик. Может быть, потому, что я познал страдание.
 - Что же за страдание ты познал?
 - Мой друг и мой любимый конь погибли.
 - Разве это самое страшное? насмешливо спросила птица.
- Ах нет, большая птица, это просто прощание, но не тем я опечален. Плохо то, что мы не можем похоронить моего друга и моего прекрасного коня, ведь у нас нет больше цветов.
- Бывает кое-что и похуже, сказала птица, недовольно зашумев крыльями.

— Нет, птица, худшего не бывает. Захороненный без жертвенных цветов не может родиться вновь по желанию своего сердца. А кто хоронит близких и не совершает торжественного обряда, тому во сне являются их тени. Ты же видишь, я больше не могу спать, ведь оба умерших остались без цветов.

Изогнутый клюв приоткрылся, и послышался резкий, шершавый голос:

— Вот и все, что ты познал, дитя малое. А слышал ли ты когда-нибудь о великом зле? О ненависти, смертоубийстве, о ревности?

Мальчику показалось, что эти слова он слышит во сне. И, сделав усилие одолеть дремоту, он скромно ответил:

— Знаешь, птица, я что-то припоминаю. Об этом говорится в древних преданиях и сказках. Но в жизни такого не бывает, или, может быть, подобное и случалось разок-другой в те давние времена, когда мир еще не знал ни цветов, ни божеств. Стоит ли думать об этом?

Птица тихо и отрывисто рассмеялась. Затем гордо подобралась и сказала:

- И вот ты отправился к королю. Не показать ли тебе дорогу?
- О, это в твоих силах! радостно крикнул он. Да, если ты и впрямь не против, я прошу тебя об этом.

Тут большая птица неслышно опустилась на землю, развела свои крылья и велела мальчику оставить коня у храма, а самому лететь к королю. Посланец сел на нее верхом.

— Закрой глаза! — приказала птица. И он послушался, и по-совиному бесшумно и мягко они начали полет сквозь черноту неба, и только свист холодного воздуха касался слуха мальчика. А они все летели и летели, и так целую ночь.

Лишь с наступлением раннего утра закончился их полет. И тогда птица крикнула: «Открой глаза!» И тут он увидел, что стоит на краю леса, а под ним — залитая утренним светом равнина, и этот свет едва не ослепил его.

— Здесь, на краю леса, ты снова найдешь меня! — крикнула птица. Стрелой взмыла она в высокое небо и исчезла в его синеве.

Странная картина предстала взору мальчика, едва он ступил на широкую равнину. Все вокруг было как-то сдвинуто и неправдоподобно, и он не мог понять, во сне или наяву видит эту равнину. Луга и деревья были такими же, как и в его родных местах, и так же играл сочной травой ветер, но во всем этом была какая-то безжизненность, угадывалось отсутствие человека и всякой живой твари, садов и строений, как будто и здесь еще недавно земля содрогалась в муках. Всюду в беспорядке валялись и

громоздились обломки домов, сломанные сучья и поваленные деревья, порушенные изгороди и орудия труда. И вдруг он увидел лежащего среди поля мертвеца. Он был не погребен и уже обезображен страшным налетом тления. От ужаса и отвращения у мальчика перехватило дыхание: он никогда не видел ничего подобного. Лицо мертвого человека было не прикрыто и наполовину исклевано птицами. Отведя глаза в сторону, мальчик нарвал зеленых листьев, отыскал несколько полевых цветов и прикрыл ими лицо покойника.

Невыразимо тяжелый и леденящий душу запах тягуче стелился по всей равнине. И еще один мертвец, распластавшийся на траве, и ворон, кружащий над ним, и лошадиный труп без головы, и кости людей или животных. И все это было открыто палящему солнцу, и некому было подумать о жертвенных цветах и погребении. Какая-то немыслимая беда сгубила всех людей в этой стране, с ужасом подумал мальчик, боясь даже взглянуть на иных мертвецов, не то чтобы прикрыть их лица цветами. Объятый страхом, с полузакрытыми глазами он брея наугад, и со всех сторон обступал его смрад разложения и запах несказанного горя и страданий. Он решил, что находится во власти зловещего сна, и увидел в этом предуказание свыше, напоминающее о том, что и тела близких ему созданий остались без цветов и погребения. Снова пришли ему на ум слова темной птицы на крыше храма, и снова он услышал ее резкий, шершавый голос: «Бывает кое-что и похуже».

Тут он догадался, что птица перенесла его на какую-то другую звезду и все увиденное им — сущая правда. Вспомнилось то полузабытое детское чувство, с каким он слушал страшные сказки, сложенные в незапамятные времена. И чувство это вновь охватило его — это был озноб страха, вытесняемый из сердца счастливым успокоением, стоило лишь подумать, что времена ужасов миновали давно и бесследно. Да, перед ним было подобие жуткой сказки. Этот непостижимый мир страха, трупов и стервятников, не знающий ни разума, ни смысла, подчинялся каким-то законам, дающим загадочным волю дурному, только нелепому, безобразному, а не прекрасному и доброму.

Между тем он вдруг увидел живого человека, шагающего через поле, — это был крестьянин или батрак, — и мальчик, не разбирая дороги, побежал навстречу и окликнул его. Но, приблизившись, в испуге замер, и его сердце наполнилось состраданием: этот крестьянин был так безобразен, что едва ли мог относиться к детям солнца. Так, должно быть, выглядят люди, которых неотвязно преследуют страшные сны. В глазах, в лице и во всем существе его не было ни малейшего проблеска радости или приязни;

казалось, ему просто недоступно выражение благодарности или доверия и никогда прежде он не испытывал самых обыкновенных добрых чувств.

Но мальчик взял себя в руки и, исполнившись дружелюбия, приблизился к этому человеку. Он приветствовал его как брата по несчастью и с улыбкой вступил в разговор с ним. Безобразный крестьянин остолбенело смотрел на мальчика своими большими и мутными глазами. Его голос был груб и совершенно лишен музыки человеческой речи, напоминая рев низших существ. Но и этот бедняга не мог устоять перед ясным и дружеским взглядом и смиренным призывом к доверию. И, еще мгновенье тупо поглядев на чужака, он чуть изменился в лице, и морщинистая грубая кожа поддалась какому-то подобию улыбки или ухмылки, довольно-таки уродливой, но в то же время удивленной, как смутная гримаса новорожденной души, вырвавшейся из темных недр земли.

— Что тебе от меня надо? — спросил человек незнакомого мальчика. Тот ответил по обычаю своей родины:

— Благодарю тебя, друг, и прошу лишь сказать: чем могу быть тебе полезен?

И покуда крестьянин молча дивился и смущенно склабился, мальчик задал еще вопрос:

— Скажи мне, друг, что это? Почему здесь так дико и жутко? — и он очертил рукой вокруг.

Крестьянин силился понять его и, когда еще раз услышал тот же вопрос, ответил:

- Ты разве не видишь? Это война. Поле боя. Он указал на черные груды руин и крикнул:
 - Это был мой дом!

И когда пришелец с такой сердечной тревогой взглянул в его нечистые глаза, он опустил их вниз и уставился в землю.

— У вас тоже есть король? — допытывался мальчик и, услышав подтверждение, спросил: — Γ де же он?

Человек махнул рукой в неясную даль, где едва виднелись крошечные шатры бивака. Посланец простился, коснувшись рукой лба незнакомца, и двинулся дальше. Крестьянин же ощупал лоб обеими руками, озадаченно покачал тяжелой головой и еще долго смотрел вслед мальчику.

А тот все бежал и бежал, среди разрухи и ужаса, покуда не достиг военного стана. Всюду стояли и суетились люди, никто не обращал на него никакого внимания, и он свободно проходил сквозь ряды людей и шатров и оказался наконец у самого большого и красивого — шатра самого короля.

Мальчик вошел внутрь.

На простом низком ложе сидел король, рядом лежал плащ, а сзади, в полумраке шатра, притулился слуга, сморенный сном. В глубокой задумчивости король низко склонил голову. Его лицо было красивым и печальным, на загорелый лоб спадала прядь седых волос, у ног лежал меч.

Мальчик застыл в почтительнейшем молчании, как если бы он приветствовал своего короля, и, скрестив на груди руки, терпеливо ждал, когда король заметит его.

- Кто ты? сурово спросил тот, и брови его нахмурились, но взгляд удивленно приник к чистым и мягким чертам юного лица. А глаза пришельца светились такой доверчивостью и добротой, что голос короля невольно потеплел:
- Где-то я уже встречал тебя, сказал он, а может быть, подобное лицо я видел в детстве.
 - Я никогда не был в этих краях, ответил посланец.
- Тогда мне почудилось, сказал король. Ты чем-то похож на мою мать. Говори. Я слушаю.
- Я прилетел сюда на птице, начал мальчик. На моей родине случилось землетрясение. Мы хотели похоронить погибших, но у нас не хватило цветов.
 - Цветов? переспросил король.
- Да, не хватило цветов. А ведь это так худо, когда надо хоронить людей и нельзя устроить праздник цветоприношения, ведь им подобает уходить в красоте.

Тут он с болью вспомнил, как много людей осталось лежать там, на страшных полянах, и голос его пресекся, а король понимающе кивнул ему и тяжко вздохнул.

— Я держал путь к нашему королю, чтобы просить у него цветов, — продолжал посланец, — но, когда я ночевал в храме среди гор, большая птица взялась перенести меня по воздуху к тебе. О милый король, это был храм неведомого божества, на его крыше сидела та птица, а на камне был знак божества, и такой странный: сердце и тоже птица, пожирающая его. Но с большой птицей, которая сидела на крыше, был у меня ночью разговор. И только сейчас мне стал понятен смысл ее слов: она говорила, что в мире гораздо больше страданий и зла, чем я думал. И вот я здесь, и мой путь пролег через большое поле, и я увидел на нем, увы, куда больше страданий и зла, чем могут поведать наши самые страшные сказки. И я пришел к тебе и хотел бы спросить тебя, о король, чем могу быть тебе полезен?

Король, внимательно слушавший его, попытался улыбнуться, но горестные складки на лице были так глубоки, что улыбки не получилось.

— Благодарю тебя, — сказал он, — ничего мне от тебя не надо. Ты напомнил мне мать и уже за это прими мою благодарность.

Мальчика огорчило то, что король не сумел улыбнуться.

- Ты так печален, сказал посланец. Это из-за войны?
- Он не мог побороть искушения и перешел черту учтивости в беседе, но продолжал допытываться: Все же скажи, прошу тебя, почему вы, живущие на этой звезде, ведете такие войны? Кто в этом виноват? Нет ли твоей вины?

Король вперился в него долгим взглядом; казалось, дерзкий вопрос пришелся ему не по нраву. Но, отразившись в светлых и невинных глазах собеседника, тяжелый взгляд внезапно потупился.

- Ты еще дитя, сказал король, и есть вещи, которых тебе не понять. Война происходит не по чьей-то вине, она возникает сама собой, как буря и молния, и все мы, кто обречен вести ее, не виновники, а только жертвы.
- Значит, вам так легко умирать? спросил мальчик. У нас на родине смерть никого не страшит, и чуть ли не все готовы, а многие даже рады принять это преображение, но ни один человек никогда даже не помыслит убивать другого. На нашей звезде это невозможно.

Король покачал головой.

— У нас убийства не редкость, — сказал он. — Но мы смотрим на них как на тяжкое преступление. Лишь на войне позволено убивать, ведь на войне убивают не из ненависти или зависти и не ради выгоды, а потому, что так решила община. Но ты заблуждаешься, полагая, что смерть дается нам легко. Если бы ты видел лица наших покойников, то сам убедился бы в этом. Они умирают тяжело, они мучительно расстаются с жизнью.

Мальчик слушал его, немея от ужаса: жизнь на этой звезде была полна мук и печали. О многом еще он хотел бы расспросить короля, но чувствовал себя бессильным постичь связь этих темных и страшных вещей, да и едва ли хватило бы ему решимости понять их. Либо эти горемыки — существа низшего порядка и еще не знают светлых богов и находятся во власти демонов, либо на той звезде все пошло вкривь да вкось по какому-то особенному злосчастию, по изначальной ошибке и нелепице. И мальчик подумал, что подвергать своего собеседника дальнейшим расспросам, понуждать к объяснениям и признаниям стало бы для короля мучительным и жестоким испытанием и всякий ответ стоил бы ему новой горечи и унижения. Эти люди, живущие в темном страхе смерти и все-таки

уничтожающие друг друга в побоищах, эти люди, чьи лица могут быть так обнаженно грубы, как у того крестьянина, и так глубоко и невыносимо печальны, как у этого короля, — эти люди внушали ему жалость и в то же время казались странными и почти смешными. Да, как бы грустно и постыдно это ни звучало, — смешными и нелепыми.

Но один вопрос он все же не мог не задать. Если эти жалкие создания просто отстали в развитии и были запоздалыми детьми, сыновьями дремуче-жестокой звезды, если жизнь этих людей оборачивалась непрерывной судорогой и кончалась свирепым смертоубийством, если они бросали павших в сражениях на съедение зверям и птицам — ведь об этом повествуют и страшные сказки доисторической поры, — должны же у них быть хотя бы смутные прозрения будущего, грезы о богах, нечто вроде робких всходов души. Иначе весь этот уродливый мир — не более чем ошибка и бессмыслица.

- Прости, король, с трепетной мягкостью сказал мальчик, прости, если я задам еще один вопрос, прежде чем покину твою удивительную страну.
- Спрашивая! отозвался король, не переставая дивиться этому чужестранцу, который порой казался ему чистым, прекрасным и вырастающим до небес духом и вместе с тем маленьким ребенком, нуждающимся в покровительстве и не доросшим до понимания серьезных вещей.
- О иноземный король, начал свою речь посланец, ты свел меня с печалью. Я пришел из другой страны, и большая птица на крыше храма оказалась права: здесь, у вас, несравненно больше горя, чем я мог вообразить. Страшный сон стал вашей явью, и я не знаю, кто правит вами — боги или демоны. Знаешь, король, есть у нас одно сказание — прежде я считал его досужим вздором. Если верить ему, то и у нас когда-то случались такие вещи, как война, и убийство, и ожесточение. Эти страшные слова давно забыты нашим языком, мы находим их только в старинных книгах сказок, для нас они звучат дико и немного смешно. Сегодня же я убедился в том, что это не выдумка, и я вижу, как ты и твой народ совершаете то, о чем мы знаем лишь из жутких преданий незапамятных времен. Но скажи мне: разве в душах ваших не брезжит прозрение, неужели вы не ведаете, что творите? Знакома ли вам тоска по светлым, радостным богам, по разумным и милосердным вождям и правителям? Неужели даже во сне вам ни разу не привиделась иная, лучшая жизнь, когда никто не желает того, чего не желают все, где властвуют разум и порядок, где люди встречаются только для того, чтобы

одарить друг друга радостью и вниманием? Посещала ли вас хоть однажды мысль о том, что мир — это единое целое и нет ничего сладостнее и животворнее, чем замирание перед его ликом и служением ему всей силой человеческой любви? Есть ли у вас хоть смутное представление о том, что у нас именуется музыкой, и божественностью, и блаженством?

Опустив голову, внимал король этим словам. Когда же он вновь поднял ее, лицо его было преображенным и как будто озарялось улыбкой, хотя в глазах стояли слезы.

— Прекрасное дитя! — сказал король. — Я, право, не знаю, ребенок ты, или мудрец, или, быть может, само божество. Но могу уверить тебя, что все, о чем ты говоришь, знакомо нам и не вытравлено из наших душ. У нас есть сказание о мудреце стародавних времен, который чувствовал единство мира и слышал его в созвучиях небесных сфер. Довольно тебе? Может статься, ты и впрямь из страны блаженства и даже само божество, но нет в твоем сердце того счастья, той власти, той воли, которым нет отзвука и в наших сердцах.

И вдруг он встал во весь рост, и мальчик изумленно уловил мгновение улыбки на лице короля; оно сияло утренним светом, ясным светом, стирающим все тени.

— Теперь ступай, — крикнул он посланцу, — ступай и оставь нас с нашими войнами и пагубами! Ты смягчил мне сердце, ты напомнил мне мать. Довольно, будет, милый, славный отрок. Иди и спасайся, покуда не началась новая бойня! Я буду думать о тебе, когда польется кровь и запылают города, и о том стану думать, что мир есть единое целое, и нашу глупость, и наш гнев, и нашу дикость нам от него не отделить. Удачи тебе! И передай поклон твоей звезде, поклонись и тому божеству, символ которого — сердце, терзаемое птицей. Я знаю это сердце и эту птицу. И прошу тебя, мой милый друг из чужедальних стран: если придет тебе на память твой друг — несчастный король среди смрада войны, пусть он вспомнится тебе не согбенным печалью на походном ложе, а с улыбкой на лице, когда в глазах его были слезы, а на руках — кровь!

Не окликая спящего слугу, король сам распахнул занавес шатра и выпустил гостя. Иными глазами смотрел теперь мальчик на равнину, через которую лежал обратный путь, когда в меркнущем свете дня ему открылся объятый пожарищем город. Сколько мертвых тел и обглоданных лошадиных трупов пришлось миновать посланцу, пока не стемнело и он снова не оказался у подножия лесистого нагорья.

И опять из облаков спустилась большая птица, подхватила его, и они полетели обратно, бесшумно, по-совиному, рассекая ночной воздух.

Пробудившись от тревожного сна, мальчик узнал своды небольшого горного храма, у входа в который, в гуще влажной травы, стоял его конь, громким ржанием встречавший наступающий день. И ничто не напоминало о темной птице и о странствии на чужую звезду, о короле и о бранном поле. Осталась лишь какая-то тень в душе, едва ощутимая смутная боль, точно засевшее внутри крохотное жальце. Так тревожит порой бессильное сострадание или сокровенное желание, смущающее наш сон до тех пор, пока мы не встретим наконец того, кому давно мечтали признаться в любви, с кем втайне хотели бы поделиться радостью и обменяться улыбкой.

Посланец оседлал коня, и, проскакав весь день, прибыл в столицу к своему королю, и полностью оправдал надежды своей общины. Король принял его приветливо и великодушно. Коснувшись рукой лба мальчика, он воскликнул:

— Взгляд глаз твоих внятен сердцу, и мое сердце ответило согласием! Просьба твоя будет исполнена прежде, чем ее вымолвят уста.

Вскоре посланцу было вручено королевское письмо. И повсюду в стране его ожидала всяческая помощь: множество цветов, лошади и повозки, гонцы и провожатые — все было отдано в его распоряжение. И когда он, обогнув горы, вышел на пологую дорогу, ведущую в родную провинцию, и вступил в пределы своей общины, за ним двигался целый караван подвод и тележек с коробками, навьюченных лошадей и мулов, и вся эта процессия благоухала прекраснейшими цветами из садов и оранжерей, которыми славится север. Цветов хватило не только для того, чтобы убрать венками тела погибших и пышно украсить их могилы, но и чтобы посадить, как предписывает обычай, в память о каждом из них один цветок, один куст и одно фруктовое деревце. И скорбь по лучшему другу и любимому коню отлегла от сердца мальчика и растворилась в спокойном торжестве души, когда он убрал их цветами и предал земле, а на могилах посадил два цветка, два куста и два плодовых деревца.

Едва он успокоил сердце и исполнил свой долг, как его стали преследовать воспоминания о том ночном странствии, и он попросил у своих близких разрешения провести один день в одиночестве и целый день и целую ночь просидел у дерева раздумий, и перед ним ясной непрерывной чередой прошли картины всего увиденного на чужой звезде. И поутру он пошел к старейшине и в уединенной беседе рассказал ему все.

Старейшина выслушал его и, не сразу оторвавшись от своих молчаливых размышлений, спросил:

— Друг мой, ты видел это собственными глазами или тебе приснилось?

- Не знаю, ответил мальчик. Думаю, что это мог быть сон. Но не сочти за дерзость, если я не вижу здесь большого различия, ведь эти вещи и сейчас въяве тревожат меня. Во мне осталась тень печали, и при всей полноте счастья мне не укрыться от холодного дыхания той звезды. Позволь же спросить, глубокочтимый, что мне теперь делать?
- Завтра снова отправляйся в горы, сказал старейшина, к тому самому месту, где ты нашел храм. Странным мне кажется символ того божества, я ничего не слыхал о нем, и, кто знает, быть может, это бог другой звезды. Или же и храм, и бог его настолько древни, что восходят к нашим далеким предкам и незапамятным временам, ведь и до нас дошли такие понятия, как оружие, страх и боязнь смерти. Иди к тому храму, милый отрок, и принеси ему в дар цветы, мед и наши песни.

Мальчик поблагодарил старца и последовал его совету. Он набрал чашу светлого меда, каким принято ранним летом потчевать почетных гостей, и взял свою лютню. В горах он нашел то место, где в прошлый раз сорвал колокольчик, и крутую каменистую тропу, уходящую к лесу, по которой недавно шагал, ведя в поводу коня. Но того места, где стоял храм, и самого храма, а стало быть, и черного алтарного камня, деревянных колонн, крыши с большой птицей и самой птицы, найти ему не удалось. И ни один из встречных, кому он описывал святилище, ничего похожего припомнить не мог.

Тогда мальчик повернул обратно, в родные края, и, проходя мимо храма благодарной памяти, вошел под его своды, поставил на алтарь чашу с медом, спел песню под звуки своей лютни и поручил покровительству божества все, что ему недавно привиделось: храм с птицей, убогого крестьянина и покойников на поле брани, но всего настоятельнее — короля в походном шатре. После этого с облегченным сердцем мальчик вернулся в свое жилище, в спальном покое повесил символ единства миров и, глубоким сном угасив впечатления дня, поднялся ранним утром, чтобы помочь своим соседям, которые работали и пели в садах и на пашнях, стирая последние следы землетрясения.

Герман Гессе. Тяжкий путь

Написана в 1916 году и опубликована в 1917 году. Посвящена доктору Гансу Бруну и его супруге.

Психоаналитические символы сказки: гора — архетип самости; проводник аналогичен лодочнику и выражает высшее «Я» героя; дерево — мировое дерево; птица — символ души, подобно Духу Ветхого Завета, символически представленному птицей (Роах).

Перевод И. Алексеевой.

У входа в ущелье, возле темных скальных ворот, я встал в нерешительности, обернулся и посмотрел назад.

Солнце сияло в этом зеленом благостном мире, на лугах мерцало летучее коричневатое разноцветье трав. Там жилось хорошо, там было уютно и тепло, там душа гудела глубоко и успокоение, подобно мохнатому шмелю в густом настое ароматов и света. И, возможно, я был глупцом, если захотел покинуть все это и подняться в горы.

Проводник мягко тронул меня за плечо. Я оторвал взгляд от милого мне вида, словно против воли выбрался из теплой ванны. Теперь я посмотрел на ущелье, погруженное в бессолнечный мрак: маленький черный ручеек выползал из расщелины, чахлые пучки бледной травы росли вдоль его кромки, на дне ручья лежала разноцветная, обкатанная водой галька, мертвая и бледная, как кости тех, кто был жив когда-то, а ныне умер.

— Хорошо бы передохнуть, — сказал я проводнику.

Он терпеливо улыбнулся, и мы опустились на землю. Было прохладно, из скальных ворот потянуло холодом — оттуда осторожно выползал поток мрачного ледяного воздуха.

Мерзок, воистину мерзок был этот путь! Омерзительно и мучительно было заставлять себя влезать в эти скальные ворота, шагать через этот холодный ручей, карабкаться во мраке вдоль крутого края пропасти!

— Ужасный путь, — сказал я, содрогаясь.

Во мне умирающим огоньком теплилась горячая, невероятная, безумная надежда, что можно еще повернуть назад, что проводник легко поддастся на уговоры, что он захочет уберечь нас обоих от этого

испытания. Да-да, а почему бы и нет? Разве там, откуда мы пришли, не было в тысячу раз прекраснее? Разве жизнь не бурлила там обильным, теплым потоком, благодатным, распахнутым для любви? И разве я не был человеком, не был ребячливым, недолговечным существом, у которого есть право на капельку счастья, на кусочек солнца, на глаза, до краев наполненные голубизной неба и цветением трав.

Нет, я хотел остаться. У меня не было ни малейшего желания строить из себя героя и великомученика! Я проживу свою жизнь в покое и довольстве, если смогу остаться в долине, в лучах солнца.

Меня уже начал пробирать озноб; здесь нельзя было долго оставаться.

— Ты замерз, — сказал проводник, — будет лучше, если мы пойдем.

С этими словами он встал, вытянулся на мгновение во весь свой огромный рост и с улыбкой посмотрел на меня. Ни насмешки, ни сострадания не было в этой улыбке, ни суровости, ни снисхождения. Ничего в ней не было, кроме понимания, ничего, кроме знания. Эта улыбка говорила: «Я знаю тебя. Знаю твой страх, знаю, какой он, и, конечно, не забыл те высокие слова, которые ты произносил вчера и позавчера. Отчаянные заячьи петли, которые трусливо совершает сейчас твоя душа, все твои заигрывания с заманчивым солнечным светом там, в долине, ведомы мне, — ведомы прежде, чем ты успеешь о них подумать».

С такой улыбкой посмотрел на меня проводник и затем сделал первый шаг в темное скалистое ущелье, и я ненавидел его — и одновременно любил, как приговоренный к смерти ненавидит и любит топор, занесенный над его головой. Но более всего я ненавидел и презирал его за то, что он меня вел, что он все обо мне знал, презирал его холодность, отсутствие милых слабостей, я ненавидел во мне самом все то, что заставляло признавать его правоту, одобряло его, было подобно ему, хотело следовать ему.

Он ушел уже довольно далеко вперед, по камням, вдоль черного ручья, и должен был вот-вот исчезнуть за скалой у изгиба ручья.

— Стой! — закричал я, охваченный таким сильным страхом, что тут же промелькнула мысль: «Будь все это сон, мой смертельный ужас разорвал бы сейчас его оковы и я бы проснулся». — Стой! — закричал я. — Я не смогу, я еще не готов.

Проводник остановился и молча посмотрел куда-то поверх меня, без упрека, но с тем самым ужасающим пониманием, с тем трудно переносимым всеведением и предвидением, посмотрел тем самым взглядом знающего-все-наперед.

— Может быть, нам повернуть назад? — спросил он, и не успел он

договорить, как я против своей воли уже начал сознавать, что скажу «нет», что я определенно обязан сказать «нет». И тут же все прежнее, привычное, близкое, любимое отчаянно запротестовало: «Скажи да, скажи да!» — и весь отчий мир тяжелым ядром повис у меня на ногах.

Я хотел крикнуть «да», хотя знал точно, что не смогу.

Тут проводник простер руку и указал на долину, и я еще раз оглянулся на любимые, милые сердцу места. И тогда я увидел самое ужасное, что только можно себе представить: я увидел, что милые, возлюбленные луга и долины залиты тусклым и безрадостным светом белого, обессилевшего солнца; крикливые, неестественные цвета совсем не сочетаются друг с другом, тени черны, как сажа, и лишены загадочной заманчивости, — этот мир был обездолен, у него отняли очарование и благоухание, — всюду витал запах и вкус того, что претит, чем давно насытился до отвращения. О, все это мне до боли знакомо, — я знал ужасную манеру проводника обесценивать любимое и приятное, выпускать из него соки, лишать живого дыхания, искажать запахи, втихомолку осквернять краски! Ах, как хорошо я знал: то, что вчера еще было вином, обратится ныне в уксус. А уксус никогда больше не станет вином. Никогда.

Я молчал и продолжал следовать за проводником с печалью в сердце. Ведь он был прав, прав, как всегда. Хорошо, что я могу его видеть, что он, по крайней мере, остается со мной, вместо того чтобы по обыкновению в решающий момент внезапно исчезнуть и оставить меня одного наедине с тем чужим голосом у меня в груди, голосом, в который он обращается.

Я молчал, но сердце мое неистово молило: «Только не уходи, я же иду за тобой!»

Отвратительно склизкими оказались камни в ручье, было утомительно, было муторно перебираться вот так, с камня на камень, оказываясь всякий раз на тесной, мокрой поверхности камня, который на глазах уменьшался и ускользал из-под ног. При этом тропа уходила все круче вверх и мрачные скальные стены подступили вплотную, они грозно наползали, и каждый уступ таил коварный умысел — стиснуть нас в каменном плену и навсегда отрезать путь назад. По бородавчатым желтым скалам стекала тягучая, склизкая водяная пленка. Ни неба, ни облаков, ни синевы больше не было над нами.

Я все шел и шел, я шел за проводником и часто зажмуривался от страха и отвращения. Вот на пути темный цветок, бархатная чернота, печальный взгляд. Он был прекрасен и что-то доверительно говорил мне, но проводник ускорил шаг, и я почувствовал: если я хоть на мгновение задержусь, если еще на один-единственный миг взгляд мой погрузится в

этот печальный бархат, то скорбь и безнадежная грусть лягут на сердце чересчур тяжелым грузом, станут непереносимы и душа моя отныне навсегда замкнется в издевательском круге бессмыслицы и безумия.

Промокший, грязный, полз я дальше, и, когда сырые стены сомкнулись над нами, проводник затянул свою старую песнь утешения. Звонким, уверенным юношеским голосом пел он в такт шагам: «Я хочу, я хочу, я хочу!» Я знал, он хотел ободрить и подстегнуть меня, пытался отвлечь от мерзкой натужности и безнадежности этого адского мытарства. Я знал: он ждет, что я подхвачу его заунывный речитатив. Но я не хотел подпевать, не хотел дарить ему эту победу. До песен ли мне было? Ведь я всего лишь человек, я — бедняга и простак, которого против его желания втянули в такие дела и свершения, каких Господь от него и требовать не может! Разве не дозволено любой гвоздичке, любой незабудке у ручья оставаться там, где она была, и цвести, и увядать, как ей на роду написано?

«Я хочу, я хочу, я хочу», — неотступно пел проводник. О, если бы я мог повернуть назад! Но с чудесной помощью проводника я уже давно взобрался на такие стены и преодолел такие бездонные трещины, что возвращение было невозможно. Рыдания душили меня, подступали к горлу, но плакать было нельзя, — что угодно, только не плакать. И тогда я дерзко, громко подхватил песнь проводника, я пел ту же мелодию, в том же ритме, но слова были другие, я повторял: «Я должен, я должен, я должен!» Но петь, взбираясь наверх, было довольно трудно, я вскоре сбил дыхание и, закашлявшись, поневоле замолчал. Он же неутомимо продолжал повторять: «Я хочу, я хочу, я хочу», — и со временем все же пересилил меня, и я стал петь с ним в унисон, повторяя его слова. Теперь карабкаться наверх стало много легче, и я больше не заставлял себя, а на самом деле — хотел, пение больше не затрудняло дыхание и не приносило усталости.

Тут душа моя просветлела, и как только светлее сделалось внутри, так сразу отступили гладкие стены, они стали суше, добрее, бережно удерживали скользящую ногу, а над нами все ярче и ярче проступало голубое небо — синим ручейком меж каменных берегов, и вскоре ручей превратился в небольшое синее озерко, которое росло и ширилось.

Я попытался хотеть сильнее, я постарался добавить страсти в свое желание — и небесное озеро продолжало расти, а тропа делалась все шире и ровнее, и порой мне удавалось с легкостью, без особых усилий шагать нога в ногу с проводником довольно долго. И неожиданно совсем близко над нами я увидел вершину, и крутые ее склоны сияли в раскаленном воздухе.

Под самой вершиной выбрались мы из тесной щели, ослепительный

солнечный свет затмил мой взор, а когда я вновь открыл глаза, то от страха у меня подогнулись колени: оказалось, что я, как ни в чем не бывало, безо всякой опоры стою на ребре острого скального гребня, вокруг раскинулось бескрайнее небесное пространство — синяя, опасная, бездонная глубина; и только острая вершина да путь до нее, подобный узкой веревочной лестнице, виднеются перед нами. Но снова светило солнце, снова сияло небо, мы взобрались-таки и на эту последнюю опасную высоту, маленькими шажками, стиснув зубы и нахмурив брови. И вот стояли уже наверху, на тесной, раскаленной каменной площадке, дыша враждебным, суровым, разряженным воздухом.

Странная это была гора — и странная вершина! На этой вершине — а ведь мы взобрались на нее, долго карабкаясь по бесконечным голым скальным стенам, — на этой вершине росло прямо из камня дерево, небольшое коренастое деревце, и на нем лишь несколько коротких, сильных ветвей. Стояло оно, невероятно одинокое и странное, крепко уцепившись за скалу и слившись с ней, и холодная небесная синева была меж его ветвей. А на самой верхушке дерева сидела черная птица и пела грозную песню.

Тихое видение краткого мгновения покоя: печет солнце, пышет жаром скала, сурово возвышается дерево, грозно поет птица. Она грозно пела: «Вечность! Вечность!» Черная птица пела и неотступно косилась на нас блестящим строгим глазом, который напоминал черный хрусталь. Трудно было выдержать ее взгляд, трудно было выдержать ее пение, но особенно ужасны были одиночество и пустота этого места, безоглядная даль пустынных небесных просторов, от которой кружилась голова.

Немыслимым блаженством казалось умереть; невыразимо мучительно было здесь оставаться. Должно что-то произойти, сейчас и немедленно, иначе мы и весь мир — все вокруг от страшной муки обратится в камень. Я почувствовал давящее и душное дуновение свершающегося, подобно порыву ветра перед грозой. Я ощутил, как оно лихорадочным жаром, трепеща, пронизало тело и душу. Оно нависало, грозя, оно уже близко — оно настало.

...Во мгновение ока сорвалась с дерева птица и камнем канула в пространство.

Прыгнул, рванувшись в синеву, мой проводник, упал в мерцающее небо — и улетел.

Вот высоко вздыбилась волна моей судьбы, увлекла с собой мое сердце, вот она беззвучно разбилась.

И я уже падал, проваливался куда-то, кувыркался, летел; плотно

спеленутый холодным воздушным вихрем, я, содрогаясь от блаженства и муки, ринулся вниз, сквозь бесконечное, к материнской груди.

Герман Гессе. Череда снов

Написана и опубликована в 1916 году и посвящена композитору и дирижеру Фолькмару Андрэ (1879 — 1962).

Перевод И. Алексеевой.

Мне казалось, что время тянется бесконечно долго, час за часом, бесполезно, а я все сижу в душной гостиной, через северные окна которой виднеется ненастоящее озеро и фальшивые фьорды; и меня притягивает и влечет к себе только прекрасная и странная незнакомка, которую я считаю грешницей. Мне обязательно нужно разглядеть ее лицо, но ничего не получается. Лицо ее смутно светится в обрамлении темных распущенных волос, все оно — заманчивая бледность, ничего больше. Глаза у нее, скорее всего, темно-карие, я уверен — они именно карие, но, кажется, тогда они не подходят к этому лицу, которое взгляд мой силится различить в этой расплывчатой бледности, но я точно знаю, что черты его хранятся в дальних, недоступных глубинах моих воспоминаний.

Наконец что-то переменилось. Вошли те двое. Они поздоровались с красивой дамой и были представлены мне. «Обезьяны», — подумал я и тут же рассердился сам на себя, ведь я просто завидовал вон тому, в изящном модном костюме кирпичного цвета, это была зависть и чувство стыда за себя. Отвратительное чувство зависти к безупречным, бесстыдным, ухмыляющимся! «Возьми себя в руки!» — приказал я самому себе. Оба человека равнодушно пожали мою протянутую руку — почему я им подал ее? — и состроили насмешливые мины.

Тут я почувствовал, что со мной что-то не так. Я ощутил неприятный холод, который шел по телу откуда-то снизу. Я опустил глаза и увидел, бледнея, что стою в одних носках[9]. Опять эти дикие, нелепые, глупые препятствия и трудности! Другим никогда не случается стоять раздетым или полураздетым в гостиной перед сворой безупречных и беспощадных! Я безнадежно пытался хотя бы прикрыть одной ногой другую и тут взглянул ненароком в окно и увидел, что скалистые берега озера угрожающе и дико синеют фальшивыми и мрачными красками, притворяясь демоническими. Удрученно и беспомощно посмотрел я на незнакомцев, полный ненависти к этим людям и еще большей ненависти к самому себе, — ничего у меня не

получалось, никогда-то мне не везло. И почему, собственно, я чувствовал себя в ответе за это глупое озеро? Ну, раз чувствовал, значит, неспроста. С мольбой заглянул я в лицо кирпично-рыжему, щеки его сияли ухоженной свежестью и здоровьем, хотя я хорошо знал, что понапрасну унижаюсь, — он не пожалеет меня.

Теперь он как раз обратил внимание на мои ноги в темных грубых носках — слава Богу еще, что они не дырявые, — и отвратительно ухмыльнулся. Он подтолкнул своего приятеля и показал на мои ноги. Тот тоже издевательски заулыбался.

— Вы на озеро посмотрите! — воскликнул я, показывая рукой в окно.

Рыжий пожал плечами — ему и в голову не пришло повернуться к окну — и что-то сказал своему приятелю; я половину не расслышал, но речь шла обо мне и таких вот простофилях без ботинок, которым не место в такой гостиной. При этом в слове «гостиная» для меня, как в детстве, звучал какой-то оттенок благородства и светскости, прекрасный и фальшивый одновременно.

Чуть не плача, я наклонился и посмотрел на свои ноги, как будто надеялся еще что-то поправить, и теперь оказалось, что я сбросил с ног стоптанные домашние туфли, — как бы то ни было, одна туфля, большая, мягкая, темно-красная, валялась на полу. Я нерешительно поднял ее, ухватившись за задник, по-прежнему в том же слезливом настроении. Туфля выскользнула, но я успел поймать ее на лету — а она тем временем выросла еще больше — и держал теперь ее за носок.

И тут я внезапно с каким-то внутренним облегчением ощутил глубокую значимость этой туфли, которая чуть покачивалась у меня в руках под тяжестью массивного задника. Ах, какое великолепие — такая вот дряблая туфля, до чего она мягкая и тяжелая! Я попробовал взмахнуть ею — это было нестерпимое ощущение, и оно пронзило меня блаженством насквозь. Никакая дубинка, никакой резиновый шланг не шел ни в какое сравнение с моей большой туфлей. Я дал ей итальянское имя Канцильоне[10].

Едва я играючи обрушил первый удар своей Канцильоне на голову рыжего, как этот молодой и безупречный модник, качнувшись, повалился на диван, а все остальные, и та комната, и страшное озеро — утратили надо мной всякую власть. Я был большой и сильный, я был свободен, и во втором ударе, который пришелся рыжему по голове, уже не было ничего от борьбы, от суетливой обороны, а лишь ликование и освобожденная радость победителя. Да и к поверженному врагу у меня не было ненависти, он был мне интересен, дорог и мил, ведь я был его господином и его творцом. Ибо

каждый хороший удар, который я наносил своей романской дубинкойтуфлей, все больше придавал форму этой незрелой обезьяньей голове, выстраивал, лепил, и с каждым ударом она становилась все более привлекательной, красивой, благородной, становилась моим творением, моим произведением, которым я был доволен и которое я любил. Последним ласковым ударом, ударом кузнеца, я вправил ему, в точности так, как надо, выпирающую часть затылка. Он был завершен. Он поблагодарил меня и погладил мне руку. «Ну-ну, полно тебе», — кивнул я. Он скрестил руки на груди и робко сказал: «Меня зовут Пауль».

Удивительное, радостное чувство всесилия росло в моей груди и расширяло пространство вокруг меня; комната — ничем уже не походившая на «гостиную»! — стыдливо ускользала и наконец боязливо исчезла куда-то в раболепном ничтожестве. Я стоял на берегу озера. Озеро было иссиня-черное, свинцовые тучи давили на мрачные горы, во фьордах, пенясь, вскипала темная вода, над нею натужно и тревожно кружили теплые вихри. Я посмотрел вверх и поднял руку, давая знак начинать бурю. Молния сорвалась с небес, холодным белым светом озарив тяжелую синеву, сверху обрушился теплый ураган, в небе серый хаос форм стремительно растекался, вспухая мраморными жилами. Большие округлые волны боязливо катились по исхлестанной ветром поверхности моря, буря срывала с их спин хлопья пены и острые водяные брызги и швыряла их мне в лицо. Замершие в темноте скалы в ужасе таращили глаза. В их молчании, в их стремлении прижаться друг к другу была мольба.

Среди оглушительной бури, лихо мчащейся на гигантских коняхпризраках, послышался рядом со мной робкий голос. Значит, я не забыл
тебя, бледная женщина, окутанная длинно-черными волосами. Я склонился
к ней — она лепетала, как дитя: «Вода поднимается, нельзя, нельзя, надо
уходить». Я еще смотрел с нежностью на милую грешницу, и все лицо ее
было — тихая бледность в сумерках волос, ничего больше; и тут высокая
волна захлестнула с плеском мои колени и сразу дошла до груди, и
грешница кротко и бессильно закачалась на волнах, а вода поднималась все
выше. Я невольно засмеялся, обхватил ее колени и взял ее на руки. И это
тоже было прекрасно и давало чувство свободы, женщина была
поразительно легкая и маленькая, наполненная свежим теплом, и глаза у
нее были добрые, доверчивые и испуганные, и я видел теперь, что это
вовсе не грешница и не далекая туманная дама. Не было греха, не было
тайны; это был просто ребенок.

Выбравшись из волн, я понес ее, минуя скалы, через дождливомрачный, траурный, царственно-сумрачный парк, куда не долетала буря, и

где склоненные ветви старых деревьев дышали нежной человечной красотой, и откуда сплошным потоком лились поэмы и симфонии; то был мир сладостных предчувствий и пленительных, возвышенно строгих наслаждений; то были милые деревья Коро, писанные маслом, и полная сельского очарования рожковая музыка Шуберта, которая мимолетным биением внезапной ностальгии тихо поманила к добрым пенатам. Только напрасна, ибо многоголос миф и для всего есть у души свое время и свой час.

Бог его знает, как эта грешница, туманная женщина, дитя, простилась и ускользнула от меня. Были каменные ступени, пожалуй, это было парадное крыльцо, слуги стояли у входа, и все — расплывчатое, туманное, как за матовым стеклом, и там еще что-то неясное, еще более бесплотное, еще более сумеречное, какие-то колеблемые ветром призраки, но оттенок упрека и укора отогнал прочь весь этот вихрь теней. Ничего от него не осталось, кроме фигуры Пауля, моего друга и сына Пауля, и в его чертах то открывалось, то скрывалось одно лицо, которое невозможно было назвать по имени, но бесконечно знакомое, лицо школьного товарища, древнее и вечное лицо няни, вскормленное добрыми, живительными, сказочными полувоспоминаниями первых лет жизни.

Добрый, задушевный сумрак, теплая колыбель души и утраченная родина раскрываются тебе. Время невоплощенного бытия, нерешительное первое биение на дне чистого источника, под которым дремлют древние времена предков, наполненные снами первобытных лесов. Ищи же, душа, блуждай, бреди на ощупь в благодатном источнике невинных, невнятных порывов! Я знаю тебя, робкая душа, нет для тебя ничего важнее, нежели возвращение к истокам, — это твой хлеб, твое питье, твой сон. Там шумит вокруг тебя морская волна, и ты сама — волна, и шумит лес, и ты сама лес, и нет больше разницы между тем, что внутри, и тем, что снаружи, ты паришь в воздухе, и ты — птица, ты ныряешь в воду, и ты — рыба, ты впитываешь свет, и ты сама — свет, ты погружаешься во тьму, и ты — тьма. Мы странствуем, душа, мы плывем и летим и, улыбаясь, связываем бесплотными пальцами порванные нити — так поют, блаженно затихая, успокоившиеся волны. Мы больше не ищем Бога. Мы сами — Бог. Мы сами — мир. Мы убиваем и умираем вместе с убитыми, мы творим и воскресаем вместе с нашими снами. Наш самый лучший сон, он — синее небо, наш лучший сон, он — море, наш лучший сон — искрящаяся звездами ночь, и рыба в воде, и яркий радостный звук, и яркий радостный свет — все это наш сон, все в мире — наш лучший сон. Мы только что умерли и стали землей. Мы только что придумали смех. Мы только сейчас

разметили на небе первые созвездия.

Звучат голоса, и в каждом — голос матери. Шумят деревья, и каждое из них шумело когда-то и над нашей колыбелью. Дороги лучами звезды разбегаются из единого центра, и каждая ведет домой.

Тот, кто назвал себя Паулем, мое творение и мой друг, появился вновь, он был теперь одного возраста со мной. Он походил на одного из друзей юности, но я не мог вспомнить на кого и потому держался с ним неуверенно и довольно церемонно. И тогда власть перешла к нему. Мир больше не подчинялся мне, он подчинялся ему, и все прежнее исчезло, сгинуло в покорной невозможности, устыдившись перед ним, тем, кто царствовал теперь.

Мы оказались на какой-то площади, город назывался Париж, и передо мною уходила ввысь железная балка, это была лестница; по обе стороны балки шли узкие железные перекладины, за которые можно было ухватиться руками и на которые удобно было ступать ногами. Пауль велел мне лезть наверх, а сам полез по второй такой же лестнице. Когда мы забрались примерно на высоту дома или высокого дерева, мне стало страшно. Я взглянул на Пауля — ему было совсем не страшно, но он понял, что я боюсь, и улыбнулся.

Одно мгновение, пока он улыбался, а я на него смотрел, я был совсем близок к тому, чтобы узнать его лицо и вспомнить имя; бездна прошлого разверзлась и открылась мне, обнажив забытые школьные годы, то время, когда все полно ароматов, все гениально, все проникнуто вкусным запахом свежего хлеба и вызолочено пьянящим блеском приключений и геройства, — двенадцать лет было Иисусу[11], когда он посрамил книжников во храме; в свои двенадцать мы посрамили всех наших воспитателей и учителей, мы были умнее, гениальнее, храбрее, чем они. Созвучия и образы обрушились на меня спутанным клубком: позабытые школьные тетради, наказание за какую-то провинность — я сижу в полуденный час в запертом классе, — птица, убитая из рогатки, карман курточки, липкий от ворованных слив, мальчишеский визг и плеск в купальне, порванные выходные брюки и терзания нечистой совести, горячая вечерняя молитва о земных заботах, удивительное, великолепное ощущение героического — от строчки Шиллера...[12] Это был лишь секундный проблеск, жадно-торопливая череда образов, среди которых не было главного, в следующее мгновение лицо Пауля вновь оказалось передо мной, мучительно полузнакомое. Я уже не мог точно определить свой возраст, может быть, мы были мальчишками. Где-то далеко-далеко под узкими перекладинами, на которых мы стояли, раскинулась неразбериха

улиц, которая называлась Париж. Когда мы поднялись выше всех башен и шпилей, железные перекладины кончились и наверху оказались две горизонтальные площадки, этакие крохотные железные плоскости. Казалось, вскарабкаться на них невозможно. Но Пауль невозмутимо залез наверх, пришлось сделать так же и мне.

Я распластался на площадке и, свесившись, глянул вниз, будто с маленького облачка, плывущего высоко в небе. Мой взгляд упал в пустоту, как камень, и ни на что не наткнулся, и тут я заметил, какое многозначительное лицо у моего приятеля, и сразу же внимание мое приковало странное зрелище, картина, парящая в воздухе. Я увидел в воздухе, на высоте крыш самых высоких домов, но все же бесконечно далеко под нами, над какой-то широкой улицей, странную компанию, кажется, это были канатоходцы, — и действительно, кто-то бежал по веревке или какой-то перекладине. Потом я вгляделся лучше и понял, что их очень много, и почти сплошь — юные девушки, это были не то цыгане, не то какой-то другой кочевой народ. Они ходили, сидели, лежали там, на высоте крыш, помещаясь на воздушном помосте из тончайших планок, среди ажурных реек в виде арок. Там они жили и чувствовали себя в этом мире как дома. Где-то под ними, внизу, угадывалась улица, и прозрачная, текучая полоса тумана тянулась снизу к их ногам.

Пауль что-то сказал о них. «Да, — ответил я, трогательное зрелище все эти девушки».

Я понимал, что нахожусь гораздо выше, чем они, но все равно в страхе прижался к площадке, они же парили легко и бесстрашно, мне было ясно: я слишком высоко, я нахожусь не там, где надо. Они же были на правильной высоте, не на земле — и все же не так дьявольски высоко и далеко; отдельно от людей — и все же не в таком полном одиночестве, к тому же их было много... Я прекрасно понимал, что они воплощали собой блаженство, которого я еще не достиг.

Но я знал, что рано или поздно придется спускаться по нашей чудовищной лестнице, и мысль об этом была для меня до того тягостна, что мне сделалось дурно, и я больше ни одной минуты не мог оставаться наверху. Колени у меня дрожали, я стал нащупывать ногами перекладины — с площадки мне их было не видно — и на несколько жутких минут, судорожно ухватившись за край, повис на этой опасной высоте. Никто не помог мне, Пауль исчез.

В глубоком страхе я отчаянно пытался зацепиться за что-нибудь, опасно перехватывая руками и болтая ногами; какое-то странное чувство окутало меня подобно туману: я понял, что испытать на себе и преодолеть

мне суждено вовсе не лестницу и головокружение, а что-то иное; и вскоре все предметы стали расплываться и исчезать, все было — сплошной туман и неопределенность. А я то цеплялся за ступеньки и мучился от дурноты, то проползал, маленький и. жалкий, по невероятно тесным штольням и подземным ходам, то отчаянно барахтался в грязном, зловонном болоте, и гадкая тина доходила мне до самого подбородка. Темно и никак не выбраться. Ужасные задачи с серьезным, но скрытым смыслом. Страх и пот, немота и холод. Трудная смерть, трудное рождение.

Как много ночи вокруг! Как много жутких, тяжких, мучительных путей, по которым мы идем; глубоко в подземелье блуждает наша душа, вечный бедный герой, вечный Одиссей! Но мы все идем и идем, мы корчимся, барахтаемся, мы захлебываемся в тине, мы карабкаемся по гладким беспощадным стенам. Мы плачем, мы отчаиваемся, мы жалобно стонем и вопим от нестерпимой муки. Но мы все равно идем дальше, идем, страдая, идем, прорываясь сквозь все препятствия.

Снова из серого адского дыма возникли образы, снова пролег маленький кусочек мрачной тропы, вызванной творящим светом воспоминаний, и душа вырвалась из прамира в родной ей круг времен.

Где это было? Знакомые вещи смотрели на меня, я вдыхал воздух и узнавал его вкус. Комната, просторная в полутьме, керосиновая лампа на столе — моя лампа, — большой круглый стол и, кажется, пианино. Там была моя сестра и еще — ее муж, наверное, они пришли ко мне в гости, а может быть — я у них в гостях. Они молчаливы и полны беспокойства, беспокойства обо мне. И я стоял в просторной и сумрачной комнате, шагал, останавливался и вновь шагал в облаке печали, в потоке горькой, давящей печали. Затем я начал что-то искать, что-то не очень важное, какую-то книгу или ножницы — и не мог найти. Я взял в руки лампу, она была тяжелая, а на меня навалилась страшная усталость, я поставил лампу на место, снова взял, и мне хотелось искать, искать, хотя я знал, что поиски напрасны. Я знал, что ничего не найду, только еще больше запутаюсь, лампа упадет у меня из рук — она ведь такая тяжелая, — и я, бедный, буду все искать и искать, блуждать на ощупь по комнате, всю жизнь до конца.

Муж сестры взглянул на меня боязливо и слегка осуждающе. Они замечают, что я начинаю сходить с ума, быстро подумал я и снова взял лампу. Сестра подошла ко мне, подошла совсем неслышно, в глазах ее была мольба и столько страха и любви, что сердце разрывалось от боли. Сказать я ничего не мог, я сумел лишь поднять руку и помахать на прощанье, помахать, отказываясь от них, и подумать про себя: «Оставьте меня! Оставьте же меня в покое! Вы ведь не можете знать, каково у меня на душе,

как мне больно, как ужасно больно!» И вновь: «Оставьте же меня! Оставьте!»

Красноватый свет лампы слабо растекался по большой комнате, на улице стонали на ветру деревья. На мгновение мне показалось, что я отчетливо вижу эту ночь за окном, чувствую ее: ветер и сырость, осень, осень! И вновь на мгновение я был не я и смотрел на себя как бы со стороны, как на картину: я был бледный, худой музыкант с горящими глазами, по имени Гуго Вольф[13], который нынче вечером собирался сойти с ума. Между тем мне нужно было искать дальше, безнадежно искать и тащить за собой всюду эту тяжелую лампу и ставить ее на круглый стол, на кресло, на стопку книг. И я вынужден был опять сделать умоляющее лицо, когда сестра печально и озабоченно посмотрела на меня, захотела утешить меня, быть со мной рядом, помочь мне. Скорбь во мне росла и заполнила меня до краев, и картины вокруг меня были так проникновенно отчетливы, гораздо отчетливей, чем бывает сама действительность; осенние цветы в стакане с водой — среди них темно-рыжий георгин горели в таком мучительно прекрасном одиночестве; каждая вещь — даже поблескивающая медная ножка лампы — была так удивительно хороша и наделена таким пророческим одиночеством, как на полотнах великих мастеров.

Я отчетливо видел свою судьбу. Еще немного тени к моей печали, еще один взгляд моей сестры, еще один взгляд цветов, прекрасных, одухотворенных цветов, — и чаша переполнилась, и я погрузился в безумие. «Оставьте меня! Вы же не знаете!...» На полированную крышку пианино ложился луч лампы, отраженный в темном дереве, такой прекрасный, такой таинственный, весь напоенный печалью.

Теперь моя сестра снова поднялась, она шла к пианино. Мне хотелось умолять ее, мне хотелось изо всех сил помешать ей, но я не мог, из моей отъединенности не изливалось больше никакой силы, которая могла бы остановить ее. О, я знал, чему сейчас суждено свершиться. Я знал ту мелодию, которая сейчас воплотится в слова, повеет обо всем и все разрушит. Немыслимое напряжение сжало мое сердце, и, когда первые обжигающие капли брызнули у меня из глаз, я уронил голову на стол, раскинул руки, и слушал, и впитывал всем своим существом и теми новыми чувствами, которые у меня появились, — слушал слова и музыку одновременно, это были стихи на музыку Вольфа:

Что вам ведомо, о сумрачные кроны, Про прекрасные минувшие века? Родина за цепью гор зеленых Недоступна, непостижна, далека![14]

И тогда мир во мне и вокруг меня стал ускользать и расплываться, потонул в слезах и звуках, и не сказать словами, как он лился, струился и какая в этом была доброта и боль! О слезы, о сладость крушения, о блаженство растворения! Все книги в мире, полные мыслей и стихов, — ничто в сравнении с одной минутой рыданий, когда чувство накатывает волной и душа осознает и ощущает себя неизмеримо глубоко. Слезы — тающий лед души, и плачущий парит средь ангелов.

Я плакал, забыв все поводы и причины, и спускался с высот непереносимого напряжения в мягкие сумерки обыкновенных чувств, без мысли, без свидетелей. И мелькающие картины: гроб, а в нем такой любимый, такой важный для меня человек, но только я не знаю кто. «Может быть, это ты сам», — подумал я, но всплыло другое важное видение, из бездонного нежного далека. А разве когда-то, несколько лет назад, или в какой-то прежней жизни я не видел чудесную картину: стайка юных девушек, живущих высоко над землей, создания туманные и бесплотные, прекрасные и счастливые, парящие легко, как эфир, и стройные, как пение скрипок?

Года пролетели с тех пор, они мягко и властно оторвали меня от этой картины. О, может быть, смысл всей моей жизни был только в том, чтобы увидеть однажды этих пленительных парящих девушек, спуститься к ним, оказаться среди них, стать таким, как они. Но они пропали где-то вдалеке, недостижимые, непонятные, никем не спасенные, устало овеянные тоскою отчаяния.

Года падали, как снежинки, и мир переменился. Я хмуро шагал к какому-то домику. Очень скверно было на душе, и неприятное ощущение во рту сковывало меня, я потрогал языком шатающийся зуб — и тут он подался и выпал. Потрогал другой зуб— и тот выпал! Там оказался врач, совсем молоденький, и я стал ему жаловаться, умолял о чем-то, показывал ему выпавший зуб. Он беспечно рассмеялся, махнул рукой с профессиональным выражением неизбежности и покачал головой дескать, ничего страшного, это не вредно, такое часто случается. «Боже», — подумал я. Но он не успокоился и указал на мое левое колено мол, обратите внимание, вот с этим шутить неуместно. С невероятной быстротой я ухватился за коленку — и увидел! Там была дыра величиной с палец, а вместо кожи и тела — бесчувственная, мягкая, рыхлая масса, легкая и волокнистая, как увядшая ткань растения. Боже мой, это был распад, это были смерть и тление! «И уже ничего нельзя сделать?» спросил я, с трудом изображая приветливость. «Ничего», — ответил

молодой врачи исчез.

Я в изнеможении побрел к домику, я не чувствовал того отчаяния, какого можно было ожидать, я был почти равнодушен. Сейчас мне необходимо было войти в дом, где ждала меня мать, я ведь, кажется, слышал уже ее голос? И, по-моему, видел ее лицо? Ступени вели наверх, головокружительные ступени, крутые, и скользкие, и никаких перил, каждая ступенька — гора, вершина, ледник. Наверняка уже слишком поздно — ее, наверное, уже нет, а может быть, она уже умерла? И что же, не суждено мне больше услышать, как она зовет меня? Молча сражался я с этим ступенчатым горным хребтом, падал, терял силы, в ярости и слезах карабкался наверх и прижимался к склону, упирался непослушными руками и подгибающимися коленями — и вот я уже наверху, у ворот, а ступеньки снова маленькие, изящные, и лестница обсажена самшитом. Каждый шаг давался с трудом, с натугой, ноги будто вязли в тине, в глине, никак не вытащишь, ворота были распахнуты, и там, за ними, в сером платье брела моя мать, с корзинкой в руках, тихо-тихо, погруженная в свои мысли. Моя мать! Темные волосы с легкой сединой, закрытые частой сеточкой! Ее походка, ее хрупкая фигура! И платье, серое платье, неужели за все эти долгие годы я совсем утратил ее образ, ни разу понастоящему не вспомнил о ней? И вот она совсем рядом: стоит, вот идет куда-то — я мог видеть ее только сзади, — точно такая она и была, ясная и прекрасная, вся — воплощенная любовь, вся — мысль о любви!

Яростно прорывался я вперед, но немеющие ноги вязли в густом воздухе, плети ползучих растений тонкими крепкими веревками все туже и туже обвивали мое тело — все мешает, все враждебно, не пройти! «Мама!» — закричал я, но закричал беззвучно... Голоса моего не было слышно. Стеклянная стена была между нею и мной.

Моя мать медленно шла дальше, не оглядываясь, тихо-тихо, погруженная в прекрасные свои мысли и заботы; рукою, которую я так хорошо знал, снимала с платья невидимую нитку, нагибалась к корзинке с шитьем. Боже, корзинка! Туда она когда-то прятала для меня пасхальные яйца. Я закричал отчаянно и беззвучно. Я бежал и не двигался с места! Нежность и ярость пожирали меня.

И она медленно прошла через весь дом насквозь, остановилась в дверях, распахнутых в сад, вышла наружу. Она слегка наклонила голову набок, мягко и задумчиво, погруженная в свои мысли, то поднимая, то опуская корзинку, — и мне вспомнилась одна записка, которую я нашел однажды в детстве в этой корзинке, и там ее легким почерком было записано все, что сегодня надо обязательно сделать и о чем не забыть:

«Зашить Герману брюки — разобрать белье — забрать книгу Диккенса — Герман вчера не помолился на ночь». Потоки воспоминаний, тяжесть любви!

Опутанный, прикованный к месту, стоял я у входа, а женщина в сером платье медленно уходила в сад, уходила прочь — и вот ее больше нет.

Герман Гессе. Фальдум

Сказка написана в 1918 году и посвящена другу писателя, коллекционеру Георгу Райнхарту (1877—1955).

Подзаголовки сказки имеют психоаналитическую символику. Ярмарка — жизнь в мирском ее понимании (существование «всем миром»), гора — символ самости. Перевод Н. Федоровой.

Ярмарка

Дорога в город Фальдум бежала среди холмов то лесом, то привольными зелеными лугами, то полем, и чем ближе к городу, тем чаще встречались возле нее крестьянские дворы, мызы, сады и небольшие усадьбы. Море было далеко отсюда, никто из здешних обитателей никогда не видел его и мир состоял будто из одних пригорков, чарующе тихих лощин, лугов, перелесков, пашен и плодовых садов. Всего в этих местах было вдоволь: и фруктов, и дров, и молока, и мяса, и яблок, и орехов. Селения тешили глаз чистотой и уютом; и люди тут жили добрые, работящие, осмотрительные, не любившие рискованных затей. Каждый радовался, что соседу живется не лучше и не хуже его самого. Таков был этот край — Фальдум; впрочем, и в других странах все тоже течет своим чередом, пока не случится что-нибудь необыкновенное.

Живописная дорога в город Фальдум — и город, и страна звались одинаково — в то утро с первыми криками петухов заполнилась народом; так бывало в эту пору каждый год: в городе ярмарка, и на двадцать миль в округе не сыскать было крестьянина или крестьянки, мастера, подмастерья или ученика, батрака или поденщицы, юноши или девушки, которые бы не думали о ярмарке и не мечтали попасть туда. Пойти удавалось не всем, ктото ведь и за скотиной присмотреть должен, и за детишками, и за старыми да немощными; но уж если кому выпало остаться дома, то он считал нынешний год чуть ли не загубленным, и солнышко, которое с раннего утра светило по-праздничному ярко, хотя лето уже близилось к концу, было ему не в радость.

Спешили на ярмарку хозяйки и работницу с корзинками в руках, тщательно выбритые, принаряженные парни с гвоздикой или астрой в петлице, школьницы с тугими косичками, влажно поблескивающими на солнце. Возницы украсили кнутовища алыми ленточками и цветами, а кто побогаче, тот и лошадей не забыл: новая кожаная сбруя сверкала латунными бляшками. Ехали по тракту телеги, в них под навесами из свежих буковых ветвей теснились люди с корзинами и детишками на коленях, многие громко распевали хором; временами проносилась вскачь коляска, разубранная флажками, пестрыми бумажными цветами и зеленью, оттуда слышался веселый наигрыш сельских музыкантов, а в тени веток нет-нет да и вспыхивали золотом рожки и трубы. Малыши, проснувшиеся ни свет ни заря, хныкали, потные от жары матери старались их унять, иной

возница по доброте сердечной сажал ребятишек к себе в телегу. Какая-то старушка везла коляску с близнецами, дети спали, а на подушке меж детских головок лежали две нарядные, аккуратно причесанные куклы, под стать младенцам румяные и пухлощекие.

Кто жил у дороги и сам на ярмарку не собирался, мог всласть потолковать с прохожими и досыта насмотреться на нескончаемый людской поток. Но таких было мало. На садовой лестнице заливался слезами десятилетний мальчуган, которого оставили дома с бабушкой. Вдоволь наплакавшись, он вдруг заметил на дороге стайку деревенских мальчишек, пулей выскочил со двора и присоединился к ним. По соседству жил бобылем старый холостяк, этот и слышать не желал о ярмарке, до того он был скуп. Повсюду царил праздник, а он решил, что самое время подстричь живую изгородь из боярышника, и вот, едва рассвело, бодро взялся за дело, садовые ножницы так и щелкали. Однако же очень скоро он бросил это занятие и, кипя от злости, вернулся в дом: ведь каждый из парней, что шли и ехали мимо, с удивлением косился на него, а порой, к вящему восторгу девушек, отпускал шутку насчет неуместного рвения; когда же бобыль, рассвирепев, пригрозил им своими длинными ножницами, все сдернули шапки и с хохотом замахали ими. Захлопнув ставни, он завистливо поглядывал в щелку, злость его мало-помалу утихла; под окном поспешали на ярмарку запоздалые пешеходы, словно их ждало там Бог весть какое блаженство, и вот наш бобыль тоже натянул сапоги, сунула кошелек талер, взял палку и снарядился в путь. Но на пороге он вдруг спохватился, что талер — непомерно большие деньги, вытащил монету из кошелька, положил туда другую, в полталера, снова завязал кошелек и спрятал его в карман. Потом он запер дверь и калитку и пустился в дорогу, да так прытко, что успел обогнать не одного пешего и даже две повозки.

С его уходом дом и сад опустели, пыль стала понемногу оседать, отзвучали и растаяли вдали конский топот и музыка, уже и воробьи вернулись со скошенных полей и принялись купаться в пыли, высматривая, чем бы поживиться. Дорога лежала безлюдная, вымершая, жаркая, порой из дальнего далека едва различимо долетал то ли крик, то ли звук рожка.

И вот из лесу появился какой-то человек в надвинутой низко на лоб широкополой шляпе и неторопливо зашагал по пустынному тракту. Роста он был высокого, шел уверенно и размашисто, точно путник, которому частенько доводится ходить пешком. Платье на нем было серое, невзрачное, а глаза смотрели из-под шляпы внимательно и спокойно — глаза человека, который хоть и не жаждет ничего от мира, однако все зорко подмечает. Он видел разъезженные колеи, убегающие к горизонту, следы

коня, у которого стерлась левая задняя подкова, видел старушку, в испуге метавшуюся по саду и тщетно кликавшую кого-то, а на дальнем холме, в пыльном мареве, сверкали махонькие крыши Фальдума. Вот он углядел на обочине что-то маленькое и блестящее, нагнулся и поднял надраенную латунную бляшку от конской сбруи. Спрятал ее в карман. Потом взгляд его упал на изгородь из боярышника: ее недавно подстригали и сперва, как видно, работали тщательно и с охотой, но чем дальше, тем дело шло хуже — то срезано слишком много, то, наоборот, в разные стороны ежом торчат колючие ветки. Затем путник подобрал на дороге детскую куклу — по ней явно проехала телега, — потом кусок ржаного хлеба, на котором еще поблескивало растаявшее масло, и наконец нашел крепкий кожаный кошелек с монетой в полталера. Куклу он усадил возле придорожного столба, хлеб скормил воробьям, а кошелек с монетой в полталера сунул в карман.

Пустынная дорога тонула в тишине, трава на обочинах пожухла от солнца и запылилась. У заезжего двора ни души, только куры снуют да с задумчивым кудахтаньем нежатся на солнышке.

В огороде среди сизых капустных кочанов какая-то старушка выпалывала из сухой земли сорняки. Незнакомец окликнул ее: мол, далеко ли до города. Однако старушка была туга на ухо, он позвал громче, но она только беспомощно взглянула на него и покачала годовой.

Путник зашагал вперед. Временами из города доносились всплески музыки и стихали вновь; чем дальше, тем музыка слышалась чаще и звучала дольше, и наконец музыка и людской гомон слились в немолчный гул, похожий на шум далекого водопада, будто там, на ярмарке, ликовал весь фальдумский народ. Теперь возле дороги журчала речка, широкая и спокойная, по ней плавали утки, и в синей глубине виднелись зеленые водоросли. Потом дорога пошла в гору, а речка повернула, и через нее был перекинут каменный мостик. На низких перилах моста прикорнул щуплый человечек, с виду портной; он спал, свесив голову на грудь, шляпа его скатилась в пыль, а рядом, охраняя хозяйский сон, сидела маленькая смешная собачонка. Незнакомец хотел было разбудить спящего — не дай Бог, упадет в воду, — но сперва глянул вниз и, убедившись, что высота невелика, а речка мелкая, будить портного не стал.

Недолгий крутой подъем — и вот перед ним настежь распахнутые ворота Фальдума. Вокруг ни души. Человек вошел в город, и шаги его вдруг гулко зазвучали в мощеном переулке, где вдоль домов тянулся ряд пустых телег и колясок без лошадей. Из других переулков неслись голоса и глухой шум, но здесь не было никого, переулок утопал в тени, лишь в

верхних окошках играл золотой отсвет дня. Путник передохнул, посидел на дышле телеги, а уходя, положил на передок латунную бляшку, найденную на дороге.

Не успел он дойти до конца следующего переулка, как со всех сторон на него обрушился ярмарочный шум и гам, сотни лавочников на все лады громко расхваливали свой товар, ребятишки дудели в посеребренные дудки, мясники выуживали из кипящих котлов длинные связки свежих колбас, на возвышении стоял знахарь, глаза его ярко сверкали за толстыми стеклами роговых очков, а рядом висела табличка с перечнем всевозможных человеческих хворей и недугов. Какой-то человек с длинными черными волосами провел под уздцы верблюда. С высоты своего роста животное презрительно взирало на толпу и жевало губами.

Лесной незнакомец внимательно рассматривал все это, отдавшись на волю толпы; то он заглядывал в лавку лубочника, то читал изречения на сахарных печатных пряниках, однако же нигде не задерживался — казалось, он еще не отыскал того, что ему было нужно. Мало-помалу он выбрался на просторную главную площадь, на углу которой расположился продавец птиц. Незнакомец немного постоял, послушал птичий щебет, доносившийся из клеток, тихонько посвистел в ответ коноплянке, перепелу, канарейке, славке.

Как вдруг неподалеку что-то слепяще ярко блеснуло, будто все солнечные лучи собрались в одной точке; он подошел ближе и увидел, что сверкает огромное зеркало в лавке, рядом еще одно, и еще, и еще — десятки, сотни зеркал, большие и маленькие, квадратные, круглые и овальные, подвесные и настольные, ручные и карманные, совсем крохотные и тонкие, какие можно носить с собой, чтоб не забыть свое лицо. Торговец ловил солнце блестящим ручным зеркальцем и пускал по лавке зайчики, без устали зазывая покупателей:

— Зеркала, господа, зеркала! Покупайте зеркала! Самые лучшие, самые дешевые зеркала в Фальдуме! Зеркала, сударыни, отличные зеркала! Взгляните, все как полагается, отменное стекло!

У зеркальной лавки незнакомец остановился, словно наконец нашел то, что искал. В толпе, разглядывающей зеркала, были три сельские девушки. Он стал рядом и принялся наблюдать за ними. Это были свежие, здоровые крестьянские девушки, не красавицы и не дурнушки, в крепких ботинках и белых чулках, косы у них чуть выгорели от солнца, глаза светились молодым задором. В руках у каждой было зеркало, правда не дорогое и не большое; девушки раздумывали, покупать или нет, томясь сладкой мукой выбора, и Временами то одна, то другая, забыв обо всем,

задумчиво вглядывалась в блестящую глубину и любовалась собой: рот и глаза, нитка бус на шее, веснушки на носу, ровный пробор, розовое ухо. Мало-помалу все три погрустнели и притихли; незнакомец, стоя у девушек за спиной, смотрел на их отражения в зеркальцах: вид у них был удивленный и почти торжественный.

Вдруг одна из девушек сказала:

— Ах, были бы у меня золотые косы, длинные, до самых колен!

Вторая девушка, услыхав слова подруги, тихонько вздохнула и еще пристальнее всмотрелась в зеркало. Потом и она, зарумянившись, робко открыла мечту своего сердца:

— Если бы я загадывала желание, то пожелала бы себе прекрасные руки, белые, нежные, с длинными пальцами и розовыми ногтями.

При этом она взглянула на свою руку, которая держала зеркальце. Рука была не безобразна, но коротковата и широка, а кожа от работы огрубела и стала жесткой.

Третья, маленькая и резвая, засмеялась и весело воскликнула:

— Что ж, неплохое желание! Только, знаешь ли, руки — это не главное. Мне бы хотелось стать самой лучшей, самой ловкой плясуньей во всем Фальдумском крае.

Тут девушка испуганно обернулась, потому что в зеркале из-за ее плеча выглянуло чужое лицо с блестящими черными глазами. Это был незнакомец, который подслушал их разговор и которого они до сих пор не замечали. Все три изумленно воззрились на него, а он тряхнул головою и сказал:

— Что ж, милые барышни, желания у вас куда как хороши. Только, может быть, вы пошутили?

Малышка отложила зеркальце и спрятала руки за спину. Ей хотелось отплатить чужаку за свой испуг, и резкое словцо уже готово было сорваться с ее губ, но она поглядела ему в лицо и смутилась — так заворожил ее взгляд незнакомца.

— Что вам за дело до моих желаний? — едва вымолвила она, густо покраснев.

Но вторая, та, что мечтала о красивых руках, прониклась доверием к этому высокому человеку — было в нем что-то отеческое, достойное.

— Нет, — сказала она, — мы не шутим. Разве можно пожелать чтонибудь лучше?

Подошел хозяин лавки и еще много других людей. Незнакомец поднял поля шляпы, так что все теперь увидели высокий светлый лоб и властные глаза. Приветливо кивнув трем девушкам, он с улыбкой воскликнул:

— Смотрите же, ваши желания исполнились! Девушки взглянули сначала друг на друга, потом в зеркало и тотчас побледнели от изумления и радости. Одна получила пышные золотые локоны до колен. Вторая сжимала зеркальце белоснежными тонкими руками принцессы, а третья вдруг обнаружила, что ножки ее стройны, как у лани, и обуты в красные кожаные башмачки. Они никак не могли взять в толк, что же такое произошло; но девушка с руками принцессы расплакалась от счастья, припав к плечу подружки и орошая счастливыми слезами ее длинные золотые волосы.

Лавка пришла в движение, люди наперебой заговорили о чуде. Молодой подмастерье, видевший все это своими глазами, как завороженный уставился на незнакомца.

— Может быть, и у тебя есть заветное желание? — спросил незнакомец.

Подмастерье вздрогнул, смешался и растерянно огляделся по сторонам, словно высматривая, что бы ему пожелать. И вот возле мясной лавки он заметил огромную связку толстых копченых колбас и пробормотал, показывая на нее:

— Я бы не отказался от этакой вот связки колбас!

Глядь, а связка уж у него на шее, и все, кто видел это, принялись смеяться и кричать, каждый норовил протолкаться поближе, каждому хотелось тоже загадать желание. Сказано — сделано, и следующий по очереди осмелел и пожелал себе новый суконный наряд. Только он это произнес, как очутился в новехоньком, с иголочки платье — не хуже, чем у бургомистра. Потом подошла деревенская женщина, набралась храбрости и попросила десять талеров — сей же час деньги зазвенели у нее в кармане.

Тут народ смекнул, что чудеса-то творятся в самом деле, и весть об этом полетела по ярмарке, по всему городу, так что очень скоро возле зеркальной лавки собралась огромная толпа. Кое-кто еще посмеивался и шутил, кое-кто недоверчиво переговаривался. Но многими уже овладело лихорадочное возбуждение, они подбегали, красные, потные, с горящими глазами, лица были искажены алчностью и тревогой, потому что всяк боялся: а ну как источник чудес иссякнет прежде, чем наступит его черед. Мальчишки просили сласти, самострелы, собак, мешки орехов, книжки, кегли. Счастливые девочки уходили прочь в новых платьях, лентах, перчатках, с зонтиками. А тот десятилетний мальчуган, что сбежал от бабушки и в веселой ярмарочной суете вконец потерял голову, звонким голосом пожелал себе живую лошадку, причем непременно вороной масти, — тотчас у него за спиной послышалось ржанье, и вороной

жеребенок доверчиво ткнулся мордой ему в плечо.

Вслед за тем сквозь опьяненную чудесами толпу протиснулся пожилой бобыль с палкой в руке. Дрожа, он вышел вперед, но от волнения долго не мог раскрыть рта.

— Я... — заикаясь начал он. — Я хо-хотел бы две сотни...

Незнакомец испытующе посмотрел на него, вытащил из кармана кожаный кошелек и показал его взбудораженному мужичонке.

- Погодите! сказал он. Не вы ли обронили этот кошелек? Там лежит монета в полталера.
 - Да, кошелек мой! воскликнул бобыль.
 - Хотите получить его назад?
 - Да-да, отдайте!

Кошелек-то он получил, а желание истратил и, поняв это, в ярости замахнулся на незнакомца палкой, но не попал, только зеркало разбил. Осколки еще звенели, а хозяин лавки уже стоял рядом, требуя уплаты, — пришлось бобылю раскошелиться.

Теперь вперед выступил богатый домовладелец и пожелал ни много ни мало как новую крышу для своего дома. Глядь, а в переулке сверкает черепичная кровля со свежевыбеленными печными трубами. Толпа опять встрепенулась: желания росли, и скоро один не постеснялся и в скромности своей выпросил новый четырехэтажный дом на рыночной площади, а четверть часа спустя выглядывал из окошка, любуясь ярмаркой.

Сказать по правде, ярмарки уже не было: весь город озером колыхался вокруг лавки зеркальщика, где стоял незнакомец и можно было высказать заветное желание. Всякий раз толпа взрывалась смехом, криками восхищения и зависти, а когда маленький голодный мальчонка пожелал всего-навсего шапку слив, другой человек, не столь скромный, наполнил эту шапку звонкими талерами. Потом бурю восторгов снискала толстуха лавочница, пожелавшая избавиться от зоба. Тут-то и выяснилось, однако, на что способна злоба да зависть. Ибо собственный ее муж, с которым она жила не в ладу и который только что с нею разругался, употребил свое желание — а ведь оно могло его озолотить! — на то, чтоб вернуть жене прежний вид. Почин все же был сделан: привели множество хворых да убогих, и толпа снова загалдела, когда хромые пустились в пляс, а слепцы со слезами на глазах любовались светом дня.

Молодежь тем временем обегала весь город, разнося весть о чуде. Рассказывали о старой преданной кухарке, которая как раз жарила господского гуся, когда услыхала в окно дивную весть, и, не устояв, тоже бегом поспешила на площадь, чтоб пожелать себе на склоне лет достатка и

счастья. Но, пробираясь в толпе, она все больше мучилась угрызениями совести и, когда настал ее черед, забыла о своих мечтаниях и попросила только, чтобы гусь до ее возвращения не сгорел.

Суматохе не было конца. Нянюшки выбегали из домов с младенцами на руках, больные выскакивали на улицу в одних рубашках. Из деревни в слезах и отчаянии приковыляла маленькая старушка и, услыхав о чудесах, взмолилась, чтобы живым и невредимым отыскался ее потерянный внучек. Глядь, а он уж тут как тут: тот самый мальчуган прискакал на вороном жеребенке и, смеясь, повис на шее у бабушки.

В конце концов весь город точно подменили, жителями завладел какой-то дурман. Рука об руку шли влюбленные, чьи желания исполнились, бедные семьи ехали в колясках, хоть и в старом залатанном платье, надетом с утра. Многие из тех, что уже теперь сожалели о бестолковом желании, либо печально брели восвояси, либо искали утешения у старого рыночного фонтанчика, который по воле неведомого шутника наполнился отменным вином.

И вот в городе Фальдуме осталось всего-навсего два человека, не знавших о чуде и ничего себе не пожелавших. Это были два юноши. Жили они на окраине, в чердачной каморке старого дома. Один стоял посреди комнаты и самозабвенно играл на скрипке, другой сидел в углу, обхватив голову руками и весь обратившись в слух. Сквозь крохотные окошки проникали косые лучи закатного солнца, освещая букет цветов на столе, танцуя на рваных обоях. Каморка была полна мягкого света и пламенных звуков скрипки — так заповедная сокровищница полнится сверканьем драгоценностей. Играя, скрипач легонько покачивался, глаза его были закрыты. Слушатель смотрел в пол, недвижный и потерянный, будто и не живой.

Вдруг в переулке зазвучали громкие шаги, входная дверь отворилась, шаги тяжко затопали по лестнице и добрались до чердака. То был хозяин дома, он распахнул дверь и, смеясь, окликнул их. Песня скрипки оборвалась, а молчаливый слушатель вскочил, будто пронзенный резкой болью. Скрипач тоже помрачнел, рассерженный, что кто-то нарушил их уединение, и укоризненно посмотрел на смеющегося хозяина. Но тот ничего не замечал — словно во хмелю, он размахивал руками и твердил:

— Эх вы, глупцы, сидите да играете на скрипке, а там весь мир переменился! Очнитесь! Бегите скорее, не то опоздаете! На рыночной площади один человек исполняет любые желания. Теперь уж вам незачем ютиться в каморке под крышей да копить долги за жилье. Скорее, скорее, пока не поздно! Я нынче тоже разбогател!

Скрипач изумленно внимал этим речам и, поскольку хозяин никак не хотел отставать, положил скрипку и надел шляпу; друг молча последовал за ним. Едва они вышли за порог, как заметили, что город впрямь переменился самым чудесным образом; в тоске и смятении, точно во сне, шагали они мимо домов, еще вчера серых, покосившихся, низких, а нынче — высоких и нарядных, как дворцы. Люди, которых они знали нищими, ехали в каретах четвериком или гордо выглядывали из окон красивых домов. Щуплый человек, по виду портной, с крохотной собачонкой, потный и усталый, тащил огромный мешок, а из прорехи сыпались наземь золотые монеты.

Ноги сами вынесли юношей на рыночную площадь к лавке зеркальщика. Незнакомец обратился к ним с такой речью:

— Вы, как видно, не спешите с заветными желаниями. Я уж совсем было решил уйти. Ну же, говорите без стеснения, что вам надобно.

Скрипач тряхнул головой и сказал:

- Ах, отчего вы не оставили меня в покое! Мне ничего не нужно.
- Ничего? Подумай хорошенько! воскликнул незнакомец.
- Ты можешь пожелать все, что душе угодно.

На минуту скрипач закрыл глаза и задумался. Потом тихо проговорил:

— Я бы хотел иметь скрипку и играть на ней так чудесно, чтобы мирская суета никогда больше меня не трогала.

В тот же миг в руках у него появилась красавица скрипка и смычок, он прижал скрипку к подбородку и заиграл — полилась сладостная, могучая мелодия, точно райский напев. Народ заслушался и притих. А скрипач играл все вдохновеннее, все прекраснее, и вот уж незримые руки подхватили его и унесли невесть куда, только издали звучала музыка, легкая и сверкающая, как вечерняя заря.

- А ты? Чего желаешь ты? спросил незнакомец второго юношу.
- Вы отняли у меня все, даже скрипача! воскликнул тот.
- Мне ничего не надо от жизни только внимать, и видеть, и размышлять о непреходящем. Потому-то я и желал бы стать горою, гигантской горою с весь Фальдумский край, чтобы вершина моя уходила в заоблачные выси.

Тот же час под землей прокатился гул, и все заколебалось; послышался стеклянный перезвон, зеркала одно за другим падали и вдребезги разбивались о камни мостовой; рыночная площадь, вздрагивая, поднималась, как поднимался ковер, под которым кошка спросонок выгнула горбом спину. Безумный ужас овладел людьми, тысячи их с криками устремились из города в поля. А те, кто остался на площади,

увидели, как за городской чертой встала исполинская гора, вершина ее касалась вечерних облаков, а спокойная, тихая речка обернулась бешеным, белопенным потоком, мчащимся по горным уступам вниз, в долину.

В мгновение ока весь Фальдумский край превратился в гигантскую гору, у подножия которой лежал город, а далеко впереди синело море. Из людей, однако, никто не пострадал.

Старичок, глядевший на все это от зеркальной лавки, сказал соседу:

- Мир сошел с ума. Как хорошо, что жить мне осталось недолго. Вот только скрипача жаль, послушать бы его еще разок.
- Твоя правда, согласился сосед. Батюшки, а где же незнакомец?!

Все начали озираться по сторонам: незнакомец исчез. Высоко на горном склоне мелькала фигура в развевающемся плаще, еще мгновение она четко вырисовывалась на фоне вечернего неба — и вот уже пропала среди скал.

Гора

Все проходит, и все новое старится. Давно минула ярмарка, иные из тех, кто пожелал тогда разбогатеть, опять обнищали. Девушка с длинными золотыми косами давно вышла замуж, дети ее выросли и теперь сами каждую осень ездят в город на ярмарку. Плясунья стала женой городского мастера, танцует она с прежней легкостью, лучше многих молодых, и, хотя муж ее тоже пожелал себе тогда денег, веселой парочке, судя по всему, нипочем не хватит их до конца дней. Третья же девушка — та, с красивыми руками, — чаще других вспоминала потом незнакомца из зеркальной лавки. Ведь замуж она не вышла, не разбогатела, только руки ее оставались прекрасными, и из-за этого она больше не занималась крестьянской работой, а от случая к случаю присматривала в деревне за ребятишками, рассказывала им сказки да истории, от нее-то дети и услыхали о чудесной ярмарке, о том, как бедняки стали богачами, а Фальдумский край — горою. Рассказывая эту историю, девушка с улыбкой смотрела на свои тонкие руки принцессы, и в голосе ее звучало столько волнения, столько нежности, что не хочешь, да подумаешь, будто никому не выпало тогда большего счастья, чем ей, хоть и осталась она бедна, без мужа и рассказывала свои сказки чужим детям.

Шло время, молодые старились, старики умирали. Лишь гора стояла неизменная, вечная, и, когда сквозь облака на вершине сверкали снега, казалось, будто гора улыбается, радуясь, что она не человек и что незачем ей вести счет времени по людским меркам. Высоко над городом, над всем краем блистали горные кручи, гигантская тень горы день за днем скользила по земле, ручьи и реки знаменовали смену времен года, гора приютила всех, как мать: на ней шумели леса, стелились пышные цветущие луга, били родники, лежали снега, льды и скалы, на скалах рос пестрый мох, а у ручьев — незабудки. Внутри горы были пещеры, где серебряные струйки год за годом звонко стучали по камню, в ее недрах таились каверны, где с неистощимым терпением росли кристаллы. Нога человека не ступала на вершину, но кое-кто уверял, будто есть там круглое озерцо и от веку в него глядятся солнце, месяц, облака и звезды. Ни человеку, ни зверю не довелось заглянуть в эту чашу, которую гора подносит небесам, — ибо так высоко не залетают и орлы.

Народ Фальдума весело жил в городе и в долинах, люди крестили детей, занимались ремеслом и торговлей, хоронили усопших. А от отцов к

детям и внукам переходила память — память о горе и мечта. Охотники на коз, косари и сборщики цветов, альпийские пастухи и странники множили эти сокровища, поэты и сказочники передавали из уст в уста; так и шла среди людей молва о бесконечных мрачных пещерах, о не видевших солнца водопадах в затерянных безднах, об изборожденных трещинами глетчерах, о путях лавин и капризах погоды. Тепло и мороз, влагу и зелень, погоду и ветер — все это дарила гора.

Прошлое забылось. Рассказывали, правда, о чудесной ярмарке, когда любой мог пожелать что душе угодно. Но что и гора возникла в тот же день — этому никто больше не верил. Гора, конечно же, стояла здесь от веку и будет стоять до скончания времен. Гора — это родина, гора — это Фальдум. Зато историю о трех девушках и скрипаче слушали с удовольствием, и всегда находился юноша, который, сидя в запертой комнате, погружался в звуки и мечтал раствориться в дивном напеве и улететь, подобно скрипачу, вознесшемуся на небо.

Гора неколебимо пребывала в своем величии. Изо дня в день видела она, как далеко-далеко встает из океана алое солнце и совершает свой путь по небосводу, с востока на запад, а ночью следила безмолвный бег звезд. Из года в год зима укутывала ее снегом и льдом, из года в год сползали лавины, а потом средь бренных, их останков проглядывали синие и желтые летние цветы, и ручьи набухали, и озера мягко голубели под солнцем. В незримых провалах глухо ревели затерянные воды, а круглое озерцо на вершине целый год скрывалось под тяжким бременем льдов, и только в середине лета ненадолго открывалось его сияющее око, считанные дни отражая солнце и считанные ночи — звезды. В темных пещерах стояла вода, и камень звенел от вековечной капели, и в потаенных кавернах все росли кристаллы, терпеливо стремясь к совершенству.

У подножия горы, чуть выше Фальдума, лежала долина, где журчал средь ив и ольхи широкий прозрачный ручей. Туда приходили влюбленные, перенимая у горы и деревьев чудо смены времен. В другой долине мужчины упражнялись в верховой езде и владении оружием, а на высокой отвесной скале каждое лето в солнцеворот вспыхивал ночью огромный костер.

Текло время, гора оберегала долину влюбленных и ристалище, давала приют пастухам и дровосекам, охотникам и плотогонам, дарила камень для построек и железо для выплавки. Многие сотни лет она бесстрастно взирала на мир и не вмешалась, когда на скале впервые вспыхнул летний костер. Она видела, как тупые, короткие щупальцы города ползут вширь, через древние стены, видела, как охотники забросили арбалеты и

обзавелись ружьями. Столетия сменяли друг друга, точно времена года, а годы были точно часы.

И гора не огорчилась, когда однажды в долгой череде лет на площадке утеса не вспыхнул алый костер. Ее не тревожило, что с той стороны он уж никогда больше не загорался, что с течением времени долина ристалищ опустела и тропинки заросли подорожником и чертополохом. Не заботило ее и то, что в долгой веренице столетий обвал изменил ее форму и обратил в руины половину Фальдума. Она не смотрела вниз, не замечала, что разрушенный город так и не отстроился вновь.

Все это было горе безразлично. Мало-помалу ее начало интересовать другое. Время шло, и гора состарилась. Солнце, как прежде, свершало свой путь по небесам, звезды отражались в блеклом глетчере, но гора смотрела на них по-иному, она уже не ощущала себя их ровней. И солнце, и звезды стали ей не важны. Важно было то, что происходило с самою горой и в ее недрах. Она чувствовала, как в глубине скал и пещер вершится неподвластная ее воле работа, как прочный камень крошится и выветривается слой за слоем, как все глубже вгрызаются в ее плоть ручьи и водопады. Исчезли льды, возникли озера, лес обернулся каменной пустошью, а луга — черными болотами, далеко протянулись морены и следы камнепадов, а окрестные земли притихли и словно обуглились. Гора все больше уходила в себя. Ни солнце, ни созвездья ей не ровня. Ровня ей ветер и снег, вода и лед. Ровня ей то, что мнится вечным и все-таки медленно исчезает, медленно обращается в прах.

Все ласковее вела она в долину свои ручьи, осторожнее обрушивала лавины, бережнее подставляла солнцу цветущие луга. И вот на склоне дней гора вспомнила о людях. Не потому, что она считала их ровней себе, нет, но она стала искать их, почувствовав свою заброшенность, задумалась о минувшем. Только города уже не было, не слышалось песен в долине влюбленных, не видно было хижин на пастбищах. Люди исчезли. Они тоже обратились в прах. Кругом тишина, увядание, воздух подернут тенью.

Гора дрогнула, поняв, что значит умирать, а когда она дрогнула, вершина ее накренилась и рухнула вниз, обломки покатились в долину влюбленных, давно уже полную камней, и дальше, в море.

Да, времена изменились. Как же так, отчего гора теперь все чаще вспоминает людей, размышляет о них? Разве не чудесно было, когда в солнцеворот загорался костер, а в долине влюбленных бродили парочки? О, как сладко и нежно звучали их песни!

Древняя гора погрузилась в воспоминания, она почти не ощущала бега столетий, не замечала, как в недрах ее пещер тихо рокочут обвалы,

сдвигаются каменные стены. При мысли о людях ее мучила тупая боль, отголосок минувших эпох, неизъяснимый трепет и любовь, смутная, неясная память, что некогда и она была человеком или походила на человека, словно мысль о бренности некогда уже пронзала ее сердце.

Шли века и тысячелетия. Согбенная, окруженная суровыми каменными пустынями, умирающая гора все грезила. Кем она была прежде? Что связывало ее с ушедшим миром — какой-то звук, тончайшая серебряная паутинка? Она томительно рылась во мраке истлевших воспоминаний, тревожно искала оборванные нити, все ниже склоняясь над бездной минувшего. Разве некогда, в седой глуби времен, не светил для нее огонь дружбы, огонь любви? Разве не была она — одинокая, великая — некогда равной среди равных? Разве в начале мира не пела ей свои песни мать?

Гора погрузилась в раздумья, и очи ее — синие озера — замутились, помрачнели и стали болотной топью, а на полоски травы и пятнышки цветов все сыпался каменный дождь. Гора размышляла, и вот из немыслимой дали прилетел легкий звон, полилась музыка, песня, человеческая песня, — и гора содрогнулась от сладостной муки узнаванья. Вновь она внимала музыке и видела юношу: овеваемый звуками, он уносился в солнечное поднебесье, — и тысячи воспоминаний всколыхнулись и потекли, потекли... Гора увидела лицо человека с темными глазами, и глаза эти упорно спрашивали: «А ты? Чего желаешь ты?»

И она загадала желание, безмолвное желание, и мука отхлынула, не было больше нужды вспоминать далекое и исчезнувшее, все отхлынуло, что причиняло боль. Гора рухнула, слилась с землей, и там, где некогда был Фальдум, зашумело безбрежное море, а над ним свершали свой путь солнце и звезды.

Герман Гессе. Ирис

Сказка написана в 1917 году и посвящена первой жене писателя Марии Бернулли. Опубликована в 1918 году.

Перевод С. Ошерова.

В весенние дни детства Ансельм бегал по зеленому саду. Среди других цветов у его матери был один цветок; он назывался сабельник, и Ансельм любил его больше всех. Мальчик прижимался щекой к его высоким светлозеленым листьям, пробовал пальцами, какие у них острые концы, нюхал, втягивая воздух, его большие странные цветы и подолгу глядел в них. Внутри стояли долгие ряды желтых столбиков, выраставших из бледноголубой почвы, между ними убегала светлая дорога — далеко вниз, в глубину и синеву тайная тайных цветка. И Ансельм так любил его, что, подолгу глядя внутрь, видел в тонких желтых тычинках то золотую ограду королевских садов, то аллею в два ряда прекрасных деревьев из сна, между которыми никогда не колышемых ветром, бежала живыми, пронизанная стеклянно-нежными жилками дорога таинственный путь в недра. Огромен был раскрывшийся свод, тропа терялась среди золотых деревьев в бесконечной глуби немыслимой бездны, над нею царственно изгибался лиловый купол и осенял волшебно-легкой тенью застывшее в тихом ожидании чудо. Ансельм знал, что это — уста цветка, что за роскошью желтой поросли в синей бездне обитают его сердце и его думы и что по этой красивой светлой дороге в стеклянных жилках входят и выходят его дыхание и его сны.

А рядом с большим цветком стояли цветы поменьше, еще не раскрывшиеся; они стояли на крепких сочных ножках в чашечках из коричневато-зеленой кожи, из которой с тихой силой вырывался наружу молодой цветок, и из окутавшего его светло-зеленого и темно-лилового упрямо выглядывал тонким острием наверх плотно и нежно закрученный юный фиолетовый цвет. И даже на этих юных, туго свернутых лепестках можно было разглядеть сеть жилок и тысячи разных рисунков.

Утром, вернувшись из дому, из сна и привидевшихся во сне неведомых миров, он находил сад всегда на том же месте и всегда новый; сад ждал его, и там, где вчера из зеленой чаши выглядывало голубое острие плотно

свернутого цветка, сегодня свисал тонкий и синий, как воздух, лепесток, подобный губе или языку, и на ощупь искал той формы сводчатого изгиба, о которой долго грезил, а ниже, где он еще тихо боролся с зелеными пеленами, угадывалось уже возникновение тонких желтых ростков, светлой, пронизанной жилками дороги и бездонной, источающей аромат душевной глуби. Бывало, уже к полудню, а бывало, и к вечеру цветок распускался, осеняя голубым сводчатым шатром золотой, как во сне, лес, и первые его грезы, думы и напевы тихо излетали вместе с дыханием из глубины зачарованной бездны.

Приходил день, когда среди травы стояли одни синие колокольчики. Приходил день, когда весь сад начинал звучать и пахнуть по-новому, а над красноватой, пронизанной солнцем листвой мягко парила первая чайная роза цвета червонного золота. Приходил день, когда сабельник весь отцветал. Цветы уходили, ни одна дорога не вела больше вдоль золотой ограды в нежную глубь, в благоухающую тайная тайных, только странно торчали острые холодные листья. Но на кустах поспевали красные ягоды, над астрами порхали в вольной игре невиданные бабочки, краснокоричневые, с перламутровой спиной, и шуршащие стеклянистокрылые шершни.

Ансельм беседовал с бабочками и с речными камешками, в друзьях у него были жук и ящерица, птицы рассказывали ему свои птичьи истории, папоротники показывали ему собранные под кровлей огромных листьев коричневые семена, осколки стекла, хрустальные или зеленые, ловили для него луч солнца и превращались в дворцы, сады и мерцающие сокровищницы. Когда отцветали лилии, распускались настурции, когда вянули чайные розы, темнели ягоды ежевики, все менялось, всегда пребывало и всегда исчезало, и даже те тоскливые, странные дни, когда ветер холодно шумел в ветвях ели и по всему саду так мертвенно-тускло шуршала увядшая листва, приносили новую песенку, новое ощущение, новый рассказ, покуда все не поникало и под окном не наметало снега; но тогда на стеклах вырастали пальмовые леса, по вечернему небу летели ангелы с серебряными колокольчиками, а в сенях и на чердаке пахло сухими плодами. Никогда не гасло в этом приветливом мире дружеское доверие, и если невзначай среди черных листьев плюща вновь начинали сверкать подснежники и первые птицы высоко взлетали в обновленную синюю высь, все было так, как будто ничто никуда не исчезало. Пока однажды, всякий раз неожиданно и всякий раз как должно, из стебля сабельника не выглядывал долгожданный, всегда одинаково синеватый кончик цветка.

Все было прекрасно, все желанно, везде были у Ансельма близкие друзья, но каждый год мгновение величайшего чуда и величайшей благодати приносил мальчику первый ирис. Когда-то, в самом раннем детстве, он впервые прочел в его чашечке строку из книги чудес, его аромат и бессчетные оттенки его сквозной голубизны стали для него зовом и ключом к творению. Цветы сабельника шли с ним неразлучно сквозь все годы невинности, с каждым новым летом обновляясь и становясь богаче тайнами и трогательней. И у других цветов были уста, и другие цветы выдыхали свой аромат и свои думы и заманивали в свои медовые келейки пчел и жуков. Но голубая лилия стала мальчику милее и важнее всех прочих цветов, стала символом и примером всего заслуживающего раздумья и удивления. Когда он заглядывал в ее чашечку и, поглощенный, мысленно шел светлой тропою снов среди желтого причудливого кустарника к затененным сумерками недрам цветка, душа его заглядывала в те врата, где явление становится загадкой, а зрение — провиденьем. И ночью ему снилась иногда эта чашечка цветка, она отворялась перед ним, небывало огромная, как ворота небесного дворца, и он въезжал в нее на конях, влетал на лебедях, и вместе с ним тихо летел, и скакал, и скользил в прекрасную бездну весь мир, влекомый чарами, — туда, где всякое ожидание должно исполниться и всякое прозрение стать истиной.

Всякое явление на земле есть символ[15], и всякий символ есть открытые врата, через которые душа, если она к этому готова, может проникнуть в недра мира, где ты и я, день и ночь становятся едины. Всякому человеку попадаются то там, то тут на жизненном пути открытые врата, каждому когда-нибудь приходит мысль, что все видимое есть символ и что за символом обитают дух и вечная жизнь. Но немногие входят в эти врата и отказываются от красивой видимости ради прозреваемой действительности недр.

Так и чашечка ириса казалась маленькому Ансельму раскрывшимся тихим вопросом, навстречу которому устремлялась его душа, источая некое предчувствие блаженного ответа. Потом приятное многообразие предметов вновь отвлекало его играми и беседами с травой и камнями, с корнями, кустарниками, живностью — со всем, что было дружеского в его мире. Часто он глубоко погружался в созерцание самого себя, сидел, предавшись всем удивительным вещам в собственном теле, с закрытыми глазами, чувствовал, как во рту и в горле при глотании, при пении, при вдохе и выдохе возникает что-то необычное, какие-то ощущения и образы, так что и здесь в нем отзывались чувства тропы и врат, которыми душа может приникнуть к другой душе. С восхищением наблюдал он те полные

значения цветные фигуры, которые часто появлялись из пурпурного сумрака, когда он закрывал глаза: синие или густо-красные пятна и полукружья, а между ними — светлые стеклянистые линии. Нередко с радостным испугом Ансельм улавливал многообразные тончайшие связи между глазом и ухом, обонянием и осязанием, на несколько мгновений, прекрасных и мимолетных, чувствовал, что звуки, шорохи, буквы подобны и родственны красному и синему цвету, либо же, нюхая траву или содранную с ветки молодую кору, ощущал, как странно близки вкус и запах, как часто они переходят друг в друга и сливаются.

Все дети чувствуют так, но Не все с одинаковой силой и тонкостью, и у многих это проходит, словно и не бывало, еще прежде, чем они научатся читать первые буквы. Другим людям тайна детства близка долго-долго, остаток и отзвук ее они доносят до седых волос, до поздних дней усталости. Все дети, пока они еще не покинули тайны, непременно заняты в душе единственно важным предметом: самими собой и таинственной связью между собою и миром вокруг. Ищущие и умудренные с приходом зрелости возвращаются к этому занятию, но большинство людей очень рано навсегда забывают и покидают этот глубинный мир истинно важного и всю жизнь блуждают в пестром лабиринте забот, желаний и целей, ни одна из которых не пребывает в глубине их «я», ни одна из которых не ведет их обратно домой, в глубины их «я».

В детстве Ансельма лето за летом, осень за осенью незаметно наступали и неслышно уходили, снова и снова зацветали и отцветали подснежники, фиалки, желтофиоли, лилии, барвинки и розы, всегда одинаково красивые и пышные. Он жил одной с ними жизнью, к нему обращали речь цветы и птицы, его слушали дерево и колодец, и первые написанные им буквы, первые огорчения, доставляемые друзьями, он воспринимал по-старому, вдобавок к саду, к матери, к пестрым камешкам на клумбе.

Но однажды пришла весна, которая звучала и пахла не так, как все прежние, и дрозд пел — но не старую свою песню, и голубой ирис расцвел — но грезы и сказочные существа уже не сновали в глубь и из глуби его чашечки по тропинке среди золотого частокола. Клубника исподтишка смеялась, прячась в зеленой тени, бабочки, сверкая, роились над высокими кашками, но все было не таким, как всегда, и мальчику стало важно другое, и с матерью он часто ссорился. Он сам не знал, что это, отчего ему порой становится больно и что ему мешает. Он только видел, что мир изменился и дружеские привязанности прежних времен распались и оставили его в одиночестве.

Так прошел год, и еще год, и Ансельм уже не был ребенком, и пестрые камешки на клумбе стали скучны, цветы немы, а жуков он теперь накалывал на булавки и совал в ящик, и душа его вступила на долгий и трудный кружный путь, и прежние радости иссякли и пересохли.

Неистово рвался молодой человек в жизнь, которая, казалось ему, только сейчас начинается. Развеялся и растаял в памяти мир тайного, новые желания, новые дороги манили прочь. Детство еще не покинуло его, пребывая еле уловимо в синеве взгляда и в мягкости волос, но он не любил, чтобы ему напоминали об этом, и коротко остриг волосы, а взгляду придал столько смелости и искушенное, сколько мог. Прихоть за прихотью вели его сквозь тоскливые, полные ожидания годы: он был то примерный ученик и добрый друг, то робкий отшельник, то книгочей, зарывшийся до ночи в какой-нибудь том, то необузданный и громогласный собутыльник на первых юношеских пирушках. Из родных мест ему пришлось уехать. Видел он их только изредка, когда навещал мать, — переменившийся, позврослевший, со вкусом одетый. Он привозил с собой друзей, привозил книги — каждый раз что-нибудь другое, — и, если ему случалось идти через сад, сад был мал и молчал под его рассеянным взглядом. Никогда больше не читал он повести в пестрых прожилках камней и листьев, никогда не видел Бога и вечности, обитающих в тайная тайных цветущего голубого ириса.

Ансельм был школьником, был студентом, возвращался в родные места сперва в красной, потом в желтой шапке, с пушком на губе, потом с молодой бородкой. Он привозил книги на чужих языках, однажды привез собаку, а в кожаной папке, что он прижимал к груди, лежали то утаенные стихи, то переписанные истины стародавней мудрости, то портреты и письма хорошеньких девушек. Он возвращался опять, побывав в чужих странах и пожив на больших кораблях в открытом море. Он возвращался опять, став молодым ученым, в черной шляпе и темных перчатках, и прежние соседи снимали перед ним шляпу и называли его «господин профессор», хотя он и не был еще профессором. Он приехал опять, весь в черном, и прошел, стройный и строгий, за медлительной повозкой, где в украшенном гробу лежала его старая мать. А потом он стал приезжать совсем редко.

В большом городе, где Ансельм преподавал теперь студентам и слыл знаменитым ученым, он ходил, прогуливался, сидел и стоял точно так же, как все люди в мире, в изящном сюртуке и шляпе, строгий или приветливый, с горящими усердием, но иногда немного усталыми глазами — солидный господин и естествоиспытатель, каким он и хотел стать. А на

душе у него было так же, как тогда, когда кончалось детство. Он вдруг почувствовал, как много лет, промелькнув, осталось у него за спиной, и сейчас стоял, странно одинокий и недовольный, посреди того мира, в который всегда стремился. Не было истинного счастья в том, что он стал профессором, не было полной радости от того, что студенты и горожане низко ему кланялись. Все как будто увяло и покрылось пылью, счастье опять оказалось где-то далеко в будущем, а дорога туда выглядела знойной, пыльной и привычной.

В это время Ансельм часто ходил к одному из друзей, чья сестра привлекала его. Он уже не бежал с легкостью за любым хорошеньким личиком, это тоже изменилось, он чувствовал, что счастье должно прийти к нему совсем особым путем и не ждет его за каждым окошком. Сестра друга очень нравилась ему, иногда он бывал почти уверен, что по-настоящему ее любит. Но она была странная девушка, каждый ее шаг и каждое слово были особого цвета, особого чекана, и не всегда легко было идти с нею и попадать ей в шаг. Когда Ансельм порой расхаживал вечерами по своему одинокому жилищу, задумчиво прислушиваясь к собственным шагам в пустой комнате, он горячо спорил с самим собой из-за своей подруги. Ему хотелось бы жену помоложе, а кроме того, при такой необычности ее нрава было бы трудно, живя с ней, все подчинять своему ученому честолюбию, о котором она и слышать не хотела. К тому же она была не слишком крепкого здоровья и плохо переносила именно праздничные сборища. Больше всего она любила жить, окружив себя музыкой и цветами, с какой-нибудь книгой, ожидая в одинокой тишине, не навестит ли ее кто, — а в мире пусть все идет своим чередом! Иногда ее хрупкая чувствительность доходила до того, что все постороннее причиняло ей боль и легко вызывало слезы. Но потом она снова лучилась тихим, чуть уловимым сияньем одинокого счастья, и видевший это ощущал, как трудно что-либо дать этой красивой странной женщине и что-нибудь значить для нее. Часто Ансельм думал, что она его любит, но часто ему представлялось, что она никого не любит, а ласкова и приветлива со всеми, желая во всем мире только одного: чтобы ее оставили в покое. Он же хотел от жизни другого, и если у него будет жена, то в доме должны царить жизнь, и шум, и радушие.

— Ирис, — говорил он ей однажды, — милая Ирис, если бы мир был устроен по-другому! Если бы не было ничего, кроме твоего прекрасного, кроткого мира: цветов, раздумий и музыки! Тогда бы я хотел только всю жизнь просидеть рядом с тобой, слушать твои истории, вживаться в твои мысли. От одного твоего имени мне делается хорошо, Ирис — необыкновенное имя, я сам не знаю, что оно мне напоминает.

- Но ведь ты знаешь, сказала она, что так называется голубой и желтый сабельник.
- Да, воскликнул он со сжимающимся сердцем, это-то я знаю, и это само по себе прекрасно. Но когда я произношу твое имя, оно всегда хочет мне напомнить еще о чем-то, а о чем, я не знаю, чувствую только, что это связано для меня с какими-то глубокими, давними и очень важными воспоминаниями, но что тут может быть, я не знаю и не могу отыскать.

Ирис улыбнулась ему, глядя, как он стоит перед нею и трет ладонью лоб.

- Со мной так бывает всякий раз, сказала она Ансельму своим легким, как у птички, голоском, когда я нюхаю цветок. Каждый раз моему сердцу кажется, что с ароматом связано вспоминание о чем-то прекрасном и драгоценном, некогда принадлежавшем мне, а потом утраченном. И с музыкой то же самое, а иногда со стихами: вдруг на мгновение что-то проблеснет, как будто ты внезапно увидел перед собой в глубине долины утраченную родину, и тотчас же исчезает прочь и забывается. Милый Ансельм, по-моему, это и есть цель и смысл нашего пребывания на земле: мыслить и искать и вслушиваться в дальние исчезнувшие звуки, так как за ними лежит наша истинная родина.
- Как прекрасно ты говоришь, польстил ей Ансельм и ощутил у себя в груди какое-то почти болезненное движение, как будто скрытый там компас неуклонно направлял его к далекой цели. Но цель была совсем не та, которую он хотел бы поставить перед собой в жизни, и от этого ему было больно да и достойно ли его впустую тратить жизнь в грезах, ради милых сказочек?

Между тем наступил день, когда господин Ансельм вернулся из одинокой поездки и был до того холодно и уныло встречен своим пустым обиталищем ученого, что побежал к друзьям с намерением просить руки у прекрасной Ирис.

— Ирис, — сказал он ей, — я не хочу так жить дальше. Ты всегда была моим добрым другом, я должен все тебе сказать. Мне нужна жена, а иначе, я чувствую, моя жизнь пуста и лишена смысла. Но кого еще желать мне в жены, кроме тебя, мой милый цветок? У тебя будет столько цветов, сколько их можно найти, будет самый прекрасный сад. Согласна ты пойти со мной?

Ирис долгой спокойно глядела ему в глаза, она не улыбалась и не краснела и дала ему ответ твердым голосом:

— Ансельм, меня ничуть не удивил твой вопрос. Я люблю тебя, хотя и никогда не думала о том, чтобы стать твоей женой. Но знаешь, мой друг, ведь я предъявляю очень большие — больше, чем у всех прочих

женщин, — требования к тому, чьей женой должна стать. Ты предложил мне цветы, полагая, что этого довольно. Но я могу прожить и без цветов, и даже без музыки, я в силах была бы, если бы пришлось, вынести и эти, и другие лишения. Но одного я не могу и не хочу лишаться: я не могу прожить и дня так, чтобы музыка в моем сердце не была самым главным. Если мне предстоит жить рядом с мужчиной, то его внутренняя музыка должна сливаться с моей в тончайшей гармонии, а сам он обязан желать лишь одного: чтобы его музыка звучала чисто и была созвучна с моей. Способен ты на это, мой друг? При этом твоя известность, может статься, не возрастет еще больше, а почестей станет меньше, дома у тебя будет тихо, а морщины на лбу, которые я вижу вот уже несколько лет, разгладятся. Ах, Ансельм, дело у нас не пойдет. Смотри, ведь ты не можешь не изучать все новых морщин у себя на лбу и не прибавлять себе все новых забот, а что я чувствую и что есть мое «я», ты, конечно, любишь и находишь очень милым, но для тебя это, как для большинства людей, всего только изящная игрушка. Послушай же, то, что теперь для тебя игрушка, для меня — сама жизнь, и тем же самым оно должно стать для тебя, а все, чему ты отдаешь труд и заботу, для меня — только игрушка, и жить ради нее, на мой взгляд, вовсе не стоит. Я никогда уже не стану другой, Ансельм, потому что я живу согласно своему внутреннему закону. Но сможешь ли стать другим ты? А ведь тебе нужно стать совсем другим, чтобы я могла быть твоей женой.

Ансельм молчал, пораженный ее волей, которую полагал слабой и детски несерьезной. Он молчал и, не замечая, в волнении мял рукой взятый со стола цветок.

Ирис мягко отобрала у него цветок — и это как тяжелый упрек поразило его в сердце — и вдруг улыбнулась ему светло и любовно, как будто бы нашла, хоть и не надеялась, путь из темноты.

— Мне пришла мысль, — сказала она тихо и покраснела. — Ты найдешь ее странной, может быть, она покажется тебе прихотью. Но это не прихоть. Согласен ты ее выслушать? И согласишься ли, чтобы она решила о нас с тобой?

Ансельм взглянул на подругу, не понимая ее, на ее бледном лице была тревога. Ее улыбка заставила его довериться ей и сказать «да».

- Я дам тебе задачу, сказала Ирис, внезапно вновь став серьезной.
- Хорошо, это твое право, покорился ей друг.
- Я говорю серьезно, это мое последнее слово. Согласен ты принять его так, как оно вылилось у меня из души, не торгуясь и не выпрашивая скидки, даже если не сразу его поймешь?

Ансельм обещал ей. Тогда она встала, подала ему руку и сказала:

— Ты часто говорил мне, что всякий раз, как произносишь мое имя, чувствуешь, будто тебе напоминают о чем-то забытом, но что было тебе важно и свято. Это знамение, Ансельм, это и влекло тебя ко мне все эти годы. И я тоже полагаю, что ты в душе потерял и позабыл нечто важное и святое, и оно должно пробудиться прежде, чем ты найдешь счастье и достигнешь своего предназначения. Прощай, Ансельм! Я протягиваю тебе руку и прошу тебя: ступай и постарайся отыскать в памяти, о чем напоминает тебе мое имя. В день, когда ты вновь это найдешь, я согласна стать твоей женой и уйти, куда ты захочешь, других желаний, кроме твоих, у меня не будет.

Ансельм в замешательстве и в удрученности хотел перебить Ирис, с упреком назвать ее требованье прихотью, но ее светлый взгляд напомнил ему о данном обещании, и он промолчал. Опустив глаза, он взял руку подруги, поднес ее к губам и пошел прочь.

В течение жизни он брал на себя и решал немало задач, но такой, как эта, — странной, важной и вместе с тем обескураживающей — не было ни разу. День за днем не знал он покоя и уставал от мыслей, и каждый раз наступал миг, когда он в отчаянии и в гневе объявлял эту задачу капризом безумной женщины и старался выбросить ее из головы. Но потом в самой глубине его существа что-то тихо начинало перечить ему — какая-то едва уловимая затаенная боль, осторожное, едва слышное напоминание. Этот голос в его собственном сердце говорил, что Ирис права, и требовал от Ансельма того же самого.

Но задача была слишком трудна для ученого. Он обязан был вспомнить о чем-то давно забытом, обязан был найти единственную золотую нить[16] в паутине канувших в прошлое лет, схватить руками и принести возлюбленной нечто сравнимое только с птичьим зовом, подхваченным ветром, радостью или грустью, налетающими, когда слушаешь музыку, нечто более тонкое, неуловимое и бесплотное, чем мысль, более нереальное, чем ночное сновидение, более расплывчатое, чем утренний туман.

Много раз, когда он, пав духом, все от себя отбрасывал и в досаде от всего отказывался, до него внезапно долетало как бы веяние из далеких садов, он шептал самому себе имя Ирис, многократно, тихо, словно играя, — как пробуют ваять ноту на натянутой струне. «Ирис, — шептал он, — Ирис!» — и чувствовал, как в глубине души шевелится что-то неуловимо-болезненное: так в старом заброшенном доме иногда без повода открывается дверь или скрипит ставень. Он проверял свои воспоминания,

которые, как полагал прежде, носил в себе разложенными по порядку, и делал при этом удивительные и огорчающие открытия. Запас воспоминаний был у него много меньше, чем он думал. Целые годы отсутствовали и лежали пустыми, как незаполненные страницы, когда он возвращался к ним мыслью. Он обнаружил, что лишь с большим трудом может отчетливо представить себе облик матери. Он совершенно забыл, как звали девушку, которую в юности, наверно, целый год преследовал самыми пылкими домогательствами. Ему вспомнилась собака, которую в студенческие годы он купил по прихоти и которая жила у него некоторое время. Понадобилось несколько дней, чтобы в памяти всплыла ее кличка.

С болью и все возрастающей печалью смотрел несчастный назад, на свою жизнь, почти улетучивающуюся и пустую, не принадлежащую ему больше, чужую, не имеющую к нему отношения, как нечто выученное когда-то наизусть, а теперь с трудом собираемое по бессмысленным кусочкам. Он начал писать в намерении записать год за годом важнейшее из пережитого, чтобы впредь твердо удерживать его в руках. Но где было самое важное из пережитого? Не то ли, что он стал профессором? Или когда-то был доктором, а до того школьником, потом студентом? Или что ему некогда, в давно исчезнувшие времена, нравилась месяц или два эта девушка? В ужасе поднял Ансельм глаза: так это и была жизнь? Это было все? И он ударил себя по лбу и оглушительно рассмеялся.

А время между тем пролетало, никогда прежде оно не летело так быстро и неумолимо. Год миновал, а ему казалось, будто он стоит на том же самом месте, что и в чае, когда расстался с Ирис. Но на самом деле он с тех пор очень переменился, это видели и знали все, кроме него. Он стал одновременно старше и моложе. Для знакомых он стал почти посторонним, его находили рассеянным, капризным и странным, он прослыл одиноким чудаком: его, конечно, жаль, но он слишком засиделся в холостяках. Случалось, что он забывал о своих обязанностях и ученики напрасно ждали его. Случалось, что он в задумчивости брел по улице вдоль домов и, задевая за карнизы, стирал с них пыль заношенным сюртуком. Многие думали, что он начал пить. Бывало и так, что посреди лекции перед студентами он останавливался, пытался поймать какую-то мысль, улыбался покоряющей детской улыбкой, какой раньше никто у него не замечал, и продолжал говорить с такой теплотой и растроганностью, что голос его многим проникал в сердце.

Давно уже безнадежная охота за ароматами и развеянными следами далеких лет изменила весь строй его мыслей, хотя он этого и не понимал. Все чаще и чаще ему казалось, будто за тем, что он до сих пор называл воспоминаниями, находятся другие воспоминания, как под старинной росписью на стене порой скрыто дремлют другие, еще более старые картины, когда-то записанные. Он хотел вспомнить что-нибудь: название города, где он, путешествуя, провел несколько дней, или день рождения друга, или еще что-то, — но, покуда он, словно обломки, раскапывал и разгребал маленький кусочек прошедшего, ему вдруг приходило в голову нечто совершенно иное. Его внезапно овевало чем-то, как ветром в сентябрьское утро или туманом в апрельский день, он обонял некий запах, чувствовал некий вкус, испытывал смутные и хрупкие ощущения — кожей, глазами, сердцем, — и постепенно ему становилось ясно: давным-давно был день, синий и теплый, либо холодный и серый, либо еще какой-нибудь — но непременно был, — и сущность этого дня заключена в нем, темным воспоминанием осталась в нем навсегда. Тот весенний или зимний день, который он так отчетливо обонял и осязал, Ансельм не мог найти в действительном своем прошлом, к тому же не было никаких имен и чисел, может быть, это было в студенческие времена, а может быть, еще в колыбели, но запах был с ним, и он чувствовал, что в нем живо нечто, о чем он не знал и чего не мог назвать и определить. Иногда ему казалось, будто эти воспоминания простираются за пределы этой жизни вспять, в предсуществование, хотя он и посмеивался над такими вещами.

Многое отыскал Ансельм в беспомощных блужданиях по пропастям памяти. Много такого, что трогало его и захватывало, но и такого, что пугало и внушало страх; одного лишь он не нашел: что значило для него имя Ирис.

Однажды он, мучаясь своим бессилием найти главное, снова посетил родные места, увидел леса и переулки, мостки и заборы, постоял в старом саду своего детства и почувствовал, как через сердце перекатываются волны, прошлое окутывало его как сон. Печальным и тихим вернулся он оттуда, сказался больным и велел отсылать всякого, кто желал его видеть.

Но один человек все же пришел к нему. То был его друг, которого он не видел со дня сватовства к Ирис. Он пришел и увидел Ансельма: запущенный, сидел тот в своей безрадостной келье.

— Вставай, — сказал ему друг, — и пойдем со мной. Ирис хочет тебя видеть.

Ансельм вскочил.

- Ирис? Что с ней? О, я знаю, знаю!
- Да, сказал друг, пойдем со мной. Она хочет умереть, она больна уже давно.

Они пошли к Ирис, которая лежала в кровати, легкая и тоненькая, как

ребенок, и ее глаза, ставшие еще больше, светло улыбались. Она подала Ансельму свою легкую и белую, совсем детскую руку, которая лежала в его руке как цветок, и лицо у нее было просветленное.

- Ансельм, сказала она, ты на меня сердишься? Я задала тебе трудную задачу и вижу, что ты остаешься ей верен. Ищи дальше и иди этой дорогой, покуда не дойдешь до цели. Ты думал, что идешь ради меня; но идешь ты ради себя самого. Ты это знаешь?
- Я смутно это чувствовал, сказал Ансельм, а теперь знаю. Дорога такая дальняя, Ирис, что я давно бы вернулся, но не могу найти пути назад. Я не знаю, что из меня выйдет.

Она посмотрела в его печальные глаза и улыбнулась светло и утешительно, он склонился к ее тонкой руке и плакал так долго, что рука стала мокрой от его слез.

— Что из тебя выйдет, — сказала она голосом, какой чудится в воспоминаниях, — что из тебя выйдет, ты не должен спрашивать. Ты много искал за свою жизнь. Ты искал почестей, и счастья, и знания, ты искал меня, твою маленькую Ирис. Но это были только хорошенькие картинки, они не могли не покинуть тебя, как мне приходится покинуть тебя сейчас. Со мной произошло то же самое. Я всегда искала, но всегда это были только милые красивые картинки, и все снова они отцветали и опадали. Теперь я не знаю больше никаких картинок, ничего не ищу, я вернулась к себе и должна сделать только один шажок, чтобы оказаться на родине. И ты придешь туда, Ансельм, и тогда на лбу у тебя больше не будет морщин.

Она была так бледна, что Ансельм воскликнул в отчаянии:

- Подожди, Ирис, не уходи еще! Оставь мне какой-нибудь знак, что я не навсегда тебя теряю!
- Вот, возьми ирис, мой цветок, и не забывай меня. Ищи меня, ищи ирис, и ты придешь ко мне.

Горько плача, Ансельм взял в руки цветок, горько плача, попрощался с девушкой. Когда друг известил его, он вернулся и помог убрать ее гроб цветами и опустить в землю.

Потом его жизнь рухнула у него за спиной, ему казалось невозможным прясть дальше ту же самую нить. Он от всего отказался, оставил город и службу и затерялся без следа в мире. Его видели то там, то тут, он появился в родном городе и стоял, облокотившись о загородку старого сада, но, когда люди стали спрашивать про него и захотели о нем позаботиться, он ушел и пропал.

Сабельник был его любовью. Он часто наклонялся над цветком, где бы тот ни рос, а когда надолго погружал взгляд в его чашечку, ему казалось,

что из голубоватых недр навстречу веют аромат и тайное прозрение прошедшего и будущего; но потом он печально шел дальше, потому что обещанное все не сбывалось. У него было такое чувство, словно он ждет и прислушивается у полуоткрытой двери, за которой слышится дыхание отрадных тайн, но, едва только он начинал думать, что вот сейчас все дастся ему и сбудется, дверь затворялась и ветер мира обдавал холодом его одиночество.

В сновидениях с ним разговаривала мать, чьи облик и лицо он впервые за долгие годы чувствовал так близко и ясно. Также Ирис разговаривала с ним, и, когда он просыпался, ему все еще звучало нечто, от чего он целый день не мог оторваться мыслями. Бесприютный, всем чужой, бродил Ансельм из края в край, и спал ли он под крышей, спал ли в лесах, ел ли хлеб, ел ли ягоды, пил ли вино или пил росу с листьев — ничего этого он не замечал. Для многих он был юродивым, для многих — чародеем, многие его боялись, многие смеялись над ним, многие любили. Он научился тому, чего никогда раньше не умел: быть с детьми, участвовать в их диковинных играх, беседовать со сломанной веткой или с камешком. Лето и зима проходили мимо него, он же смотрел в чашечки цветов, в ручьи, в озера.

— Картинки, — говорил он иногда, ни к кому не обращаясь, — все только картинки.

Но в себе самом он чувствовал некую сущность, которая не была картинкой; ей-то он и следовал, и эта сущность в нем могла иногда говорить — то голосом Ирис, то голосом матери — и была утешением и надеждой.

Удивительные вещи встречались ему — и его не удивляли. Так, однажды он шел по снегу через зимнюю долину, и борода его обледенела. А среди снега стоял ирис, острый и стройный, он выпустил одинокий прекрасный цветок, и Ансельм наклонился к нему и улыбнулся, потому что теперь вспомнил и знал, о чем всегда напоминал ему ирис. Он снова вспомнил свою детскую грезу и видел между золотых столбиков голубую дорогу в светлых прожилках, которая вела в сердце и тайная тайных цветка, и там — он знал это — обреталось то, что он искал, обреталась сущность, которая не была картинкой.

Все снова встречали его напоминания, грезы вели его, и он пришел к хижине, там были дети, они напоили его молоком, и он играл с ними, они рассказывали ему истории и рассказывали, что в лесу у угольщиков случилось чудо. Там видели отворенными ворота духов, которые отворяются раз в тысячу лет. Он слушал и кивал, представляя себе эту дивную картину, и пошел дальше; в ивняке впереди пела птичка с

редкостным, сладким голосом, как у покойной Ирис. Ансельм пошел на голос, птичка вспорхнула и перелетела дальше, за ручей и потом в глубь бескрайних лесов.

Когда птичка смолкла и ее не было больше ни видно, ни слышно, Ансельм остановился и огляделся вокруг. Он стоял в глубине долины, среди леса, под широкой зеленой листвой тихо текли воды, а все остальное затихло в ожидании. Но в его груди птичка пела и пела голосом возлюбленной и посылала его дальше, пока он не остановился у замшелой стены скал, в середине которой зияла расселина, чей узкий и тесный ход вел в недра горы.

Перед расселиной сидел старик, он встал, увидев, что приближается Ансельм, и крикнул:

— Назад, странник, назад! Это ворота духов. Никто из тех, кто вошел в них, не возвращался.

Ансельм поднял взгляд и заглянул в скальные ворота — и увидел теряющуюся в глубине горы голубую тропу, а по обе стороны ее часто стояли золотые колонны, и тропа полого спускалась в недра, словно в чашечку огромного цветка.

В его душе запела птичка, и Ансельм шагнул мимо сторожа в расселину и через чашу золотых колонн — в тайная тайных голубых недр. То была Ирис, в чье сердце он проникал, и то был сабельник в материнском саду — в его голубую чашечку Ансельм входил легким шагом; и когда он молчаливо шел навстречу золотому сумраку, все, что он помнил и знал, сразу же пришло к нему, он чувствовал ведущую его руку, она была маленькая и влажная, любовные голоса доверительно звучали над самым его ухом, они звучали точно так же и золотые колонны блестели точно так же, как все звенело и светилось давным-давно, в его детстве, с приходом весны.

И вновь пришел к нему тот сон, который снился в детские годы, — что он идет в чашечку цветка и вслед за ним идет и летит весь мир картинок, чтобы кануть в тайная тайных, которая лежит за всеми картинками.

Тихо-тихо запел Ансельм, и его тропа тихо спускалась вниз, на родину.

Герман Гессе. Роберт Эгион

Рассказ написан в 1911 году и включен в сборник «Из Индии» (1913), содержащий двадцать одну прозаическую «зарисовку» индийского путешествия Гессе, одиннадцать стихотворений и рассказ «Роберт Эгион».

Перевод Г. Снежинской.

В восемнадцатом столетии, которое, как и любая иная эпоха, многолико и отнюдь не исчерпывается представлениями о галантных романах и забавно-вычурных фарфоровых статуэтках, в Великобритании зародилось новое направление христианства и христианской деятельности; проклюнувшись из едва приметного зернышка, оно с поразительной быстротой разрослось, подобно могучему экзотическому древу, и ныне всем известно как миссионерское движение евангелической церкви. Миссионерства не чуждается и Рим, однако католическая церковь не породила в этой области чего-то нового или выдающегося, ибо с первых своих дней и поныне она считала и считает себя всемирным царством, в права, обязанности и непременные заботы которого входит покорение и обращение в истинную веру всех сущих в мире народов, что и осуществляла католическая церковь неутомимо на протяжении всей своей истории, порой с любовью и подлинным благочестием, каковые были свойственны ирландским монахам, порой же — с поспешностью и неумолимостью, отличавшими, например, Карла Великого. противоположностью такого образа действий стали труды различных протестантских общин и церквей, и главное их отличие от вселенской католической церкви состояло в том, что они были национальными и служили духовным потребностям наций, рас и народов: у чехов был Ян Гус, у немцев

— Лютер, у англичан — Виклиф[17].

И если родившееся в Англии протестантское миссионерское движение, в сущности, находилось в противоречии с самим протестантизмом, ибо обращалось к древнейшей вере Христовых апостолов, то немало было к тому внешних поводов и причин. Начиная со славной эпохи Великих открытий странствовали люди по всему свету,

открывали и покоряли неведомые земли, но исследовательский интерес к незнакомым горам и островам, а равно и геройство мореходов и искателей приключений повсюду сметены были духом нового времени, устремлялся в недавно открытые экзотические земли не ради волнующих деяний и событий, не из-за редкостных зверей и птиц или романтических пальмовых рощ, но за перцем и сахаром, шелками и мехом, саго и рисом, — словом, за товарами, которые приносят прибыль на мировом рынке. И потому в людях все более развивалась известная односторонность и горячность, они отбросили или предали забвению многие обычаи и законы, которые чтила христианская Европа. Там, вдали от дома, они хищно преследовали и убивали туземцев; в Америке, Африке, Индии образованные европейские христиане разбойничали, точно куница, забравшаяся в курятник. Даже если подойти к делу без излишней чувствительности, все это было просто чудовищно, шел грубый циничный грабеж, творилось насилие, и на родине завоевателей это вызвало всплеск возмущения и стыда, который в конце концов привел к тому, что колонизация обрела упорядоченный и благопристойный вид. Одним же из таких порывов было миссионерское движение, возникшее в силу справедливого и доброго желания — чтобы Европа дала бедным, беспомощным язычникам и дикарям нечто иное, нечто благое и возвышенное, а не один лишь порох да выпивку.

И как бы мы ни расценивали самое существо, пользу, значительность и успешность миссионерской деятельности, нет никаких сомнений в том, что, как всякое подлинно религиозное движение, оно было порождено чистотой помыслов и чувств, что у его истоков стояли благородные, а нередко и замечательные люди, искренне веровавшие и желавшие добра, что и до сего дня служит ему немало таких людей. И пусть не все они стали героями или мудрыми наставниками — герои и наставники среди них были; и если кто-то, возможно, оказался недостоин славы, то было бы несправедливо возлагать на всех вины немногих.

Впрочем, довольно предварительных рассуждений. В Англии второй половины восемнадцатого века нередко случалось, что исполненные добрых намерений и движимые доброй волей миряне, воодушевившись миссионерской идеей, предоставляли денежные средства для ее осуществления. Однако миссионерских союзов или обществ в том виде, в каком они существуют ныне, тогда еще не было, и каждый на свой лад и в меру своих возможностей старался посодействовать благому делу; тот же, кто в те времена становился миссионером и уезжал в дальние края, странствовал по свету совсем не так, как нынешние путешественники,

которых, подобно почтовой посылке с подробным адресом, благополучно доставляют в заморскую страну, где их ждет размеренный, упорядоченный труд, — тогдашние миссионеры отправлялись в путь, вверив свою судьбу воле Господа, и пускались в рискованное предприятие без долгих предварительных приготовлений.

В девяностых годах восемнадцатого века некий торговец, чей разбогатевший в Индии брат умер, не оставив других наследников, пожелал пожертвовать значительную денежную сумму на дело распространения в Индии евангельского учения. Он обратился за советом к одному из совладельцев могущественной Ост-индской компании, а также к духовным особам, и они, все взвесив, пришли к заключению, что для начала следует отправить в Индию троих или четверых миссионеров, которых надлежит в достатке обеспечить деньгами и всем необходимым.

О новом начинании было объявлено, и оно сразу же привлекло многих жадных до приключений молодых людей: несостоявшиеся актеры и лишившиеся места ученики цирюльников сочли, что призваны совершить заманчивое путешествие, — благочестивой коллегии пришлось изрядно потрудиться, чтобы обойти этих назойливых претендентов и подыскать серьезно настроенных и достойных молодых людей. Без широкой огласки старались привлечь внимание молодых богословов, однако родина вовсе не опостылела английским священникам, они отнюдь не загорелись при мысли о трудном, да и опасном, путешествии; поиски затянулись, и пожертвователь уже начал терять терпение.

И тогда весть о его замыслах и неудачах добралась наконец до крестьянского поселка в окрестностях Ланкастера, до жилища сельского священника, который предоставил кров и стол своему племяннику, сыну покойного брата, юноше по имени Роберт Эгион, помогавшему дяде в его трудах. Роберт был сыном морского капитана и добронравной работящей шотландки; рано осиротев, он почти не помнил отца, но дядя, когда-то влюбленный в мать Роберта, за свой счет отправил учиться мальчика, в котором открыл хорошие задатки, так что Роберт был надлежащим образом подготовлен ко вступлению на поприще священнослужителя и приблизился к цели настолько, насколько это было возможно для кандидата, показавшего хорошие успехи в ученье, но не имеющего состояния. Пока что Роберт был викарием своего дяди и благодетеля, но не мог рассчитывать на получение собственного прихода до кончины священника Эгиона. А поскольку тот был крепок и бодр и еще не разменял седьмой десяток, то его племянника ожидало далеко не блестящее будущее. Из-за бедности он не надеялся получить собственный приход, а вместе с ним и

средства к существованию до достижения весьма солидного возраста, и потому не был завидным женихом для молодых девиц на выданье, по крайней мере для достойных, с иными же он не знался.

Итак, и душа и судьба Роберта не были безоблачны, однако затенявшие их облака, казалось, изящно и значительно обрамляли его скромное невинное существование и едва ли таили опасность или угрозу. Бесхитростный и чистый юноша, конечно, не понимал, почему, будучи образованным человеком, наделенным достоинством духовного сана, он должен уступать любому крестьянскому парню, ткачу или прядильщику в том, что касалось счастливой любви и возможности жениться, сделав свободный выбор, и потому, когда Роберту случалось играть на маленьком старом органе в сельской церкви во время венчания, душа его порой бывала не вполне свободна от зависти и недовольства. Однако, благодаря своей простой натуре, Роберт научился изгонять из помыслов несбыточные мечты и стремился лишь к тому, что было открыто для него в силу положения и способностей, а это было не так уж и мало. Сын глубоко благочестивой женщины, Роберт был наделен простыми, стойкими христианскими чувствами и верой, проповедовать их было для него радостью. Вместе с тем свои сокровенные духовные наслаждения он находил в созерцании природы, обладая нужной для этого тонкой наблюдательностью. О том дерзком, революционном и конструктивном естествознании, которое как раз набирало силу в его время и в его стране и немного позднее отравило жизнь столь многим священникам, Роберт ничего не знал и не ведал. Скромный, чистый юноша, чуждый философских исканий, но неутомимый в наблюдениях и трудах, он пребывал в полнейшем довольстве, созерцая и познавая, собирая и изучая то, что дарила ему природа. В детстве он выращивал цветы и составлял гербарии, затем всецело увлекся минералами и окаменелостями, причем восхищался ими, конечно же, лишь как прекрасной и значительной игрой природных форм, а в последние годы, и особенно после переселения в деревню, более всего полюбился ему многоцветный мир насекомых. Любимицами Роберта были бабочки, их блистательная метаморфоза неизменно приводила его в пылкий восторг, а их великолепные узоры и бархатистые сочные краски несли ему столь чистое наслаждение, что людям более скромных дарований бывает ведомо лишь в ранние детские годы, которым высокая взыскательность не свойственна.

Таким душевным складом был наделен молодой богослов, который, услыхав весть о миссионерском начинании, вмиг встрепенулся и почувствовал, как вдруг в глубине его души все устремилось, словно

стрелка компаса, к одной цели — Индии. Мать Роберта умерла несколько лет тому назад, ни обручения, ни хотя бы тайного уговора с какой-нибудь девушкой у него не было, дядя, правда, умолял племянника отказаться от опасной затеи, но, в конце концов, священник Эгион был усердным служителем Бога и, как знал Роберт, прекрасно мог обойтись в своем приходе и церкви без помощи племянника. Роберт написал в Лондон, получил обнадеживающий ответ, деньги на проезд до столицы, и не мешкая, пустился в путь после тягостного прощания с дядей, который все еще хмурился и горячо отговаривал его ехать; с собой он взял небольшой ящик с книгами да узел с платьем и сожалел лишь об одном: что нельзя захватить также гербарии, минералы и коллекции бабочек.

Взволнованно и робко переступил новый кандидат на индийскую службу порог высокого, строгого дома благочестивого купца, что расположен был в сумрачном и бурливом лондонском центре, и там, в сумраке коридора, явилось ему его будущее в образе висевшей на стене огромной карты восточного полушария Земли, а в первой открывшейся перед ним комнате — в образе большой тигровой шкуры. Почтенный лакей проводил смущенного и растерянного юношу в залу, где его ожидал хозяин дома. Высокий и строгий господин с гладко выбритым лицом и льдистоголубыми пронизывающими глазами принял гостя на старинный манер суховато, однако после непродолжительной беседы робкий кандидат произвел на хозяина вполне благоприятное впечатление, и он предложил юноше садиться и продолжил экзамен доброжелательно и приветливо. Затем хозяин попросил у Роберта аттестаты и написанную автобиографию и, вызвав звонком слугу, сделал краткое распоряжение, после чего слуга безмолвно проводил юного богослова в комнату для гостей, куда немедленно явился другой слуга, принесший чай, вино, ветчину, масло и хлеб. Молодого человека оставили одного за столом, и он как следует подкрепился. Потом, удобно расположившись в высоком, обитом синим бархатом кресле, он некоторое время размышлял о своем положении и праздно разглядывал обстановку комнаты, в которой после беглого осмотра обнаружил еще двух посланцев далекой жаркой страны: в углу возле камина стояло красновато-коричневое чучело обезьяны, а над ним на синей шелковой обивке стены висела высушенная кожа невиданной огромной змеи с бессильно поникшей безглазой, слепой головой. Подобные вещи Роберт ценил высоко, он поспешил рассмотреть их вблизи и потрогать. Образ живого питона, которого Роберт представил себе, свернув в трубку блестящую серебром змеиную кожу, показался ему и страшным, и отталкивающим, но в то же время еще сильней раздразнил его

любопытство к далекой чудесной чужой стране. Роберт подумал, что его не устрашат ни змеи, ни обезьяны, и с наслаждением принялся мысленно рисовать себе сказочные цветы и деревья, дивных бабочек и птиц, которыми, несомненно, богаты благословенные жаркие страны.

Меж тем время близилось к вечеру, и безмолвный слуга принес зажженную лампу. За высоким окном, смотревшим на мертвую улочку, повисли туманные сумерки. Тишина респектабельного дома, слабо доносившееся издалека волнение большого города, уединенность высокой прохладной комнаты, где Роберт чувствовал себя пленником, отсутствие какого-либо занятия и романическая неопределенность положения слились со сгустившимся мраком осеннего лондонского вечера и повлекли душу молодого человека прочь с высот надежды, все ниже, ниже, и наконец, через два часа, которые он провел, чутко прислушиваясь и чего-то ожидая, он устал ждать чего-либо от этого дня, улегся в роскошную постель для гостей дома и вскоре уснул.

Его разбудил — среди ночи, как ему показалось, — слуга, сообщивший, что молодого человека ждут к ужину, и он, следовательно, должен поторопиться. Эгион сонно оделся, потом, все еще вяло, пошатываясь спросонок, побрел за лакеем через комнаты и коридоры, спустился вниз по лестнице и вошел в просторную, залитую светом ярко столовую, где разодетая в бархат, люстр драгоценностями хозяйка дома оглядела его в лорнет, а хозяин представил двум священникам, и те прямо за ужином подвергли своего юного собрата строгому экзамену, прежде всего желая удостовериться в искренности его христианских воззрений. Полусонному святителю стоило немалых усилий понять смысл заданных вопросов и тем более — ответить на них, однако робость была к лицу юноше, и почтенные мужи, привыкшие иметь дело с претендентами совсем иного толка, прониклись к нему благосклонностью. После ужина в соседней комнате были разложены на столе географические карты, и Эгион впервые увидел местность, где ему предстояло проповедовать слово Божие, — желтое пятно на карте Индии, к югу от города Бомбея.

На следующий день Роберта отвезли к почтенному старому господину, который был главным советником коммерсанта в духовных вопросах и, поскольку страдал от подагры, уже несколько лет был заживо погребен в четырех стенах своего кабинета. Старик сразу почувствовал расположение к бесхитростному юноше. Он не задавал никаких вопросов касательно веры, однако быстро распознал натуру и характер Роберта; поняв же, что предприимчивости настоящего проповедника в нем мало, ощутил к юноше

жалость и принялся настойчиво разъяснять ему опасности морского плавания и жизни в южных широтах. Старик полагал, что нелепо молодому, чистому человеку жертвовать собой и в конце концов умереть на чужбине, коль скоро нет у него ни особых дарований, ни склонностей и, стало быть, нет призвания к подобному служению. И он дружески положил Роберту руку на плечо и сказал, поглядев ему в глаза с проникновенной добротой:

— Все, о чем вы мне говорили, хорошо и, наверное, правдиво. Но я все-таки не вполне понимаю — что же так влечет вас в Индию? Будьте откровенны, дорогой друг, скажите без утайки: вас зовет в Индию некое мирское желание или порыв? Или вы движимы единственно искренним желанием нести Святое Евангелие бедным язычникам?

При этих словах Роберт Эгион покраснел, точно мошенник, которого схватили за руку. Он опустил глаза и ответил не сразу, однако смело признался, что, хотя его намерение вполне серьезно и исполнено благочестия, ему все же никогда не пришла бы в голову мысль отправиться в Индию и вообще стать миссионером, если б не пристрастие к великолепным редкостным растениям и насекомым, в особенности к бабочкам, которые и манят его в тропическую страну. Старик понял, что юноша открыл ему свою последнюю тайну и больше ему признаваться не в чем. Он кивнул и с дружелюбной улыбкой сказал:

— Ну, эту греховную страсть вы должны одолеть самостоятельно. Поезжайте в Индию, милый юноша! — И, снова приняв строгий вид, он возложил руки Роберту на голову и торжественно благословил его словами Священного писания.

Спустя три недели молодой миссионер — теперь уже пассажир с большим багажом из чемоданов и сундуков — поднялся на борт прекрасного парусного корабля и вскоре увидел, как его родная земля скрылась средь серого моря; за первую неделю плавания, еще до того как корабль подошел к берегам Испании, Эгион успел узнать капризы и опасности морей. В те времена путешественник, плывший в Индию, достигал своей цели уже не тем неопытным новичком, каким покидал родину: все было не так, как нынче, когда садишься в Европе на комфортабельный пароход, проходишь Суэцкий канал и спустя короткое время, осовев от обильной еды и долгого сна, вдруг с удивлением видишь перед собой индийский берег. В те времена парусники мучительно долгие месяцы шли вокруг огромной Африки, попадали в грозные штормы, изнывали в мертвый штиль; тогдашние мореплаватели томились от зноя и мерзли, голодали, по многу ночей обходились без сна, и победитель,

завершивший плавание, был уже не прежним маменькиным сынком, несмышленым юнцом — он достаточно твердо стоял на ногах и не нуждался в посторонней помощи. Так было и с нашим миссионером. Плавание из Англии к берегам Индии длилось сто шестьдесят пять дней, и в Бомбейском порту с корабля сошел загорелый худощавый мореплаватель Эгион.

Меж тем ни своей радости, ни любопытства он не утратил, хотя его пыл и в том и в другом теперь стал сокровенным, и если еще в плавании во время стоянок в портах он сходил на берег, ведомый любознательностью исследователя, с благоговейным вниманием осматривал все незнакомые коралловые или поросшие зелеными пальмами острова, то на индийскую землю он ступил, глядя вокруг жадно раскрытыми благодарно-радостными глазами, и в прекрасный многоцветный город вошел с непреклонной отвагой.

Прежде всего он разыскал дом, в котором ему посоветовали поселиться. Этот дом стоял в тихой улочке бомбейского предместья, под приветливой сенью кокосовых пальм. Он встречал незнакомца настежь распахнутыми окнами и широко простертыми навесами веранд, казалось, здесь и впрямь ждала Эгиона желанная индийская родина. Проходя в ворота, Роберт окинул взглядом маленький сад и, хотя сейчас следовало бы заняться более важными делами и наблюдениями, не преминул обратить внимание на пышный куст с темно-зеленой листвой и большими золотыми цветами, над которым беззаботно порхал прелестный рой белых бабочек. Эта картина все еще стояла у него в глазах, слегка слезившихся от солнца, когда он поднялся по нескольким пологим ступеням на тенистую просторную веранду и вошел в настежь распахнутые двери. Слуга-индус в белом одеянии подбежал, ступая босыми темными ногами по прохладному кирпичной выложенному красной плиткой, СКЛОНИЛСЯ полу, почтительном поклоне и певуче, немного в нос, заговорил.на каком-то индийском наречии, однако скоро заметил, что прибывший гость его не понимает, и, снова поклонившись и по-змеиному гибко изгибаясь, почтительно и радушно жестами пригласил Роберта пройти дальше, в глубину дома, к проему, где вместо двери висела циновка из пальмового волокна. В тот же миг циновку кто-то отбросил в сторону, и на пороге появился высокий худой человек с властным взглядом, одетый в белый тропический костюм и в плетеных сандалиях на босу ногу. Заговорив на неведомом индийском наречии, он обрушил на голову слуги поток брани тот испуганно сжался, потихоньку попятился и, стараясь не привлекать внимания, скрылся где-то в доме, хозяин же обратился к Эгиону поанглийски и пригласил его входить.

Миссионер сразу же начал извиняться за свой неожиданный приезд и попытался замолвить слово за бедного индуса, который не совершил никакого проступка. Но хозяин нетерпеливо отмахнулся:

- Скоро и вы научитесь обращаться с этими пройдохами как подобает, сказал он. Входите же! Я вас ждал.
- Должно быть, вы мистер Бредли? осведомился приезжий вежливо, хотя с первых же шагов в этом экзотическом доме, с первого взгляда на того, кто отныне будет его наставником, советчиком и товарищем, в Эгионе поднялись отчуждение и холодность.
- Ну да, конечно, я Бредли. А вы Эгион. Ну же, Эгион, входите, чего вы ждете? Вы уже обедали?

Вскоре этот высокий костлявый человек с беспардонно властной манерой бывалого индийского старожила и торгового агента, кем он был по роду занятий, полностью взял жизнь Эгиона в свои загорелые, поросшие темным волосом руки. Он приказал накормить его кушаньем из баранины и риса, которое было щедро сдобрено жгучим пряным соусом, он показал ему комнаты, провел по всему дому, забрал для отправки его письма, осведомился, нет ли поручений, он удовлетворил его первое любопытство и объяснил первые, самые необходимые правила жизни европейца в Индии. Он пустил рысью четверых темнокожих индусов, он командовал и бранился с холодной злостью, оглашая бранью весь дом, он вызвал индусапортного и велел ему срочно сшить для Эгиона десяток пригодных для здешних условий костюмов. Новичок все принимал благодарно и слегка оробев, хотя ему по душе скорей был бы иной приезд в Индию, более тихий и более торжественный, когда бы он сперва немного освоился на новом месте, а потом за дружеской беседой поделился с новым знакомым своими первыми впечатлениями от Индии и множеством гораздо более ярких впечатлений от морского плавания. Однако за время путешествия, которое длится более полугода, успеваешь научиться вести себя скромно и применяться к самым необычайным обстоятельствам, так что, когда под вечер Бредли ушел в город по своим торговым делам, наш юный святитель вздохнул с облегчением и решил, что теперь-то, в одиночестве, он тихо отпразднует свой приезд и торжественно встретится с Индией.

В приподнятом, радостном настроении, наспех разобрав и разложив по местам свои вещи, вышел он из прохладной комнаты, где не было ни дверей, ни окон, а были лишь большие открытые проемы во всех стенах, покрыл светловолосую голову широкополой шляпой с легким шарфом от солнца, взял крепкую трость и спустился по лестнице с веранды в сад.

Радостно огляделся он и глубоко вдохнул этого нового воздуха, чутко улавливая благоухания и ароматы, всматриваясь в цвета и краски этой неведомой сказочной земли, в покорение которой он, скромный радетель, надеялся внести свою лепту и которой жаждал отдать всего себя после столь долгого ожидания и робкого предвкушения радости.

То, что он увидел и почувствовал в эту минуту, было прекрасно и, казалось, тысячекратно подтверждало его мечты и предчувствия. Густые высокие кустарники, сочные, округлые, стояли, залитые горячим солнцем, усыпанные крупными невиданно яркими цветами; на стройных и гладких колоннах стволов в непостижимой вышине покоились тихие круглые кроны кокосовых пальм, веерная пальма вздымала к небу над крышей дома удивительно правильное и строгое гигантское колесо могучих, в человеческий рост, ветвей, а на краю дорожки опытный глаз любителя природы сразу приметил крохотное существо. Эгион осторожно к нему приблизился — это был маленький зеленый хамелеон с треугольной головкой и злыми бусинками глаз. Роберт наклонился к нему и почувствовал, что счастлив, как мальчишка, тем, что ему дано видеть подобные существа и саму неисчерпаемо изобильную природу у подлинного истока ее богатств.

Звуки необычайной музыки пробудили его от благоговейной отрешенности. Средь полной шепотов тишины в зеленой глубине зарослей вдруг загремел ритмичный грохот барабанов из металла, раздался резкий высокий голос труб. Благочестивый любитель природы удивленно прислушался, затем, ничего и никого не видя, с любопытством пошел туда, откуда неслась музыка, ему хотелось узнать, где и как рождаются эти варварские торжествующие звуки. Он вышел из сада через настежь распахнутые ворота и направился по приятной зеленой дороге, которая бежала вдоль возделанных полей, приветливых домиков и садов, средь пальмовых плантаций и радостно-светлых зеленых рисовых всходов; наконец, миновав высокую изгородь то ли парка, то ли большого сада, он очутился на сельской, судя по виду, улочке с индийскими хижинами. Это были маленькие глинобитные, а то и просто построенные из бамбука домики, крытые сухими пальмовыми листьями, и везде у открытых дверей сидели на корточках и стояли смуглые индусы. Он с любопытством присматривался к этим людям, впервые приоткрылась ему по-деревенски простая жизнь чужого первобытного народа, и он с первой же минуты почувствовал приязнь к этим смуглокожим людям с прекрасными детскими глазами, полными некой безотчетной и неизбывной звериной тоски. Из-под переплетения длинных прядей густых черных, как смоль, волос глядели на

него глаза прекрасных женщин, тихих, словно косули; над переносицей, на запястьях и на щиколотках блестели у них золотые украшения, на пальцах ног они носили кольца. Маленькие дети ходили голышом, лишь на шее у каждого висел на шнурке из пальмового волокна диковинный амулет из серебра или кости.

Меж тем Роберт шел, нигде не задерживаясь, но не потому, что ему были неприятны пристальные взгляды людей, которые, оцепенев от любопытства, уставились на него, напротив, он сам в душе устыдился своего жадного внимания к этим людям. Да и дикая музыка все не умолкала и слышалась теперь уж где-то совсем рядом; но вот наконец, свернув в переулок, он обнаружил то, к чему шел. Там возвышалось невероятное, диковинное здание совершенно фантастического вида и устрашающей высоты с огромными воротами в центре; в изумлении глядя на него снизу вверх, Роберт увидел, что колоссальные каменные стены снизу доверху испещрены резьбой, изображениями сказочных чудовищ, людей и богов — или же демонов, — сотни каменных фигур громоздились, теснясь одна на другой, поднимаясь все выше к терявшейся в вышине островерхой кровле; густые заросли, дикие дебри, переплетение тел, членов, лиц. Страшный колосс из камня — индийский храм сиял в пологих лучах позднего закатного солнца и внятно говорил смутившемуся чужестранцу, что эти по-звериному тихие полуголые люди — вовсе не первобытный народ, пребывающий в райском неведении, что уже несколько тысяч лет существуют у него боги и мысль, идолы и религии.

Пронзительные звуки музыки смолкли, и тут из храма чередой потянулись индусы в белых и пестрых одеждах, впереди, на почтительном отдалении от прочих, торжественно шествовала маленькая процессия брахманов[18], надменных в непоколебимой тысячелетней мудрости и достоинстве. Мимо белого чужака они прошествовали гордо, словно родовитые вельможи мимо простого подмастерья, и ни брахманы, ни простые люди, что следовали за ними, судя по их лицам, не испытывали ни малейшего желания, чтобы какой-то иноземец поучал их в божественных и житейских делах.

Когда шествие скрылось из виду и все вокруг стихло, Роберт Эгион подошел к храму поближе и со смущенным любопытством принялся рассматривать изображения на фасаде святилища, однако вскоре он с огорчением и страхом оставил эту затею, ибо гротескный символический язык резных изображений, среди которых при всей их умопомрачительной уродливости были, несомненно, истинные шедевры, поверг его в смятение и страх, так же как и многие бесстыдно непристойные сцены, простодушно

помещенные на стенах храма вперемежку с бесчисленными богами.

Он отвернулся от храма и огляделся по сторонам в поисках дороги, по которой пришел, как вдруг померкли и храм, и улица, по небу пробежали мерцающие многоцветные огни и пала на землю южная темная ночь. Пугающе быстрое наступление темноты не было для молодого миссионера чем-то новым, и все же его охватил легкий озноб. С приходом сумерек во всех кустах и деревьях поднялся звучный стрекот и гуд тысяч больших цикад, вдали же внезапно раздался то ли яростный, то ли тоскливый звериный крик, необычайный, пугающий голос. Эгион заторопился в обратный путь и благополучно нашел дорогу, но, хотя идти было недалеко, еще не успел он добраться до дому, как уже вся окрестность погрузилась во мрак и высокое черное небо густо усыпали звезды.

В дом он вошел рассеянно, в глубокой задумчивости, остановился в первой же освещенной комнате, и тут мистер Бредли встретил его такими словами:

- Наконец-то пожаловали! На первых порах не советую выходить из дому в такое позднее время. Кстати, вы стрелять умеете?
 - Стрелять? Нет. Этому я не учился.
 - Ну, думаю, скоро научитесь. Но где же вы пропадали весь вечер?

Эгион с жаром обо всем рассказал. Он жадно расспрашивал, какой религии принадлежит увиденный им храм, каким богам или идолам поклоняются в нем верующие, что означают резные изображения на его стенах и диковинная музыка, и являются ли жрецами гордые прекрасные мужи в белых одеяниях, и какие имена носят их божества. Но здесь подстерегало Эгиона первое разочарование. О чем бы он ни спрашивал, его советчик ничего не знал. Бредли заявил, что никто на свете не сумеет разобраться в мерзком сумбуре и непристойностях этих языческих культов, что брахманы — гнусная шайка угнетателей и бездельников и что вообще все до одного индийцы — паршивые побирушки и скоты, подлый сброд, с которым порядочному англичанину зазорно иметь дело.

- Но ведь мое предназначение, нерешительно возразил Эгион, состоит как раз в том, чтобы наставить этих заблудших на путь истинный. И потому я должен их понять, и полюбить, и все о них узнать...
- Скоро вы узнаете их лучше, чем вам самому захочется. Конечно, вам нужно выучить хиндустани и, пожалуй, еще какое-нибудь из их подлых скотских наречий. А вот любовью вы мало чего добьетесь.
 - О, у этих людей такой благонравный вид!
- Вы находите? Что ж, скоро сами убедитесь, что я прав. В ваших намерениях относительно обращения индусов я ничего не смыслю и судить

об этом не берусь. А вот наша задача — со временем привить языческому сброду ростки культуры и дать мало-мальские понятия о приличиях, но дальше этого, полагаю, нам не продвинуться никогда!

- Но, позвольте, ваша нравственность или то, что вы сейчас назвали приличиями, это христианская нравственность!
- Вы имеете в виду любовь. Ха! Попробуйте-ка, скажите индусу, что вы питаете к нему любовь. Он тут же начнет что-нибудь у вас выклянчивать, а кончит тем, что стащит у вас рубашку!
 - Возможно.
- Абсолютно определенно, мой дорогой. Вам придется иметь дело как бы с недорослями, которые еще не созрели для понятий чести и закона. Но это вам не благонравные английские школьники, нет, это народ хитрых черных мошенников, постыднейшие вещи для них величайшее удовольствие. Вы еще вспомните мои слова!

Эгион с грустью оставил дальнейшие попытки о чем-либо узнать и для начала решил прилежно и послушно научиться всему, чему сможет, в этом доме, однако затем делать то, что сам сочтет справедливым и разумным. И все же, прав или не прав был суровый Бредли в своих суждениях, с первой же минуты, когда Эгион увидел чудовищный храм и недосягаемых в гордом величии брахманов, ему стало ясно: его миссия в этой стране потребует гораздо больших трудов и усилий, чем он полагал ранее.

На следующее утро в дом принесли сундуки, в которых миссионер привез из Англии свое имущество. Он тщательно распаковал все, сложил рубашки с рубашками, книги с книгами и вдруг заметил, что некоторые давно знакомые вещи настроили его на задумчивый лад. То были подвернувшаяся ему под руку небольшая гравюра в черной рамке с треснувшим в дороге стеклом — портрет господина Дефо[19], сочинителя «Робинзона Крузо», и старый любимый молитвенник, еще в детстве подаренный Роберту матерью; однако чуть позже он увидел добрый путевой знак, указывающий в будущее, — карту Индии, подарок дяди, и два сачка со стальными обручами для ловли бабочек, еще в Лондоне изготовленные по заказу Эгиона. Один сачок он сразу же отложил в сторону — он должен был пригодиться в самые ближайшие дни.

К вечеру все имущество было разобрано и вещи заняли свои места, гравюрка висела над кроватью, в комнате воцарились чистота и порядок. Ножки кровати и стола Эгион, как ему посоветовали, поставил в наполненные водой глиняные мисочки, чтобы уберечься от муравьев, Бредли весь день отсутствовал, занимался своими торговыми делами, и

молодой человек чувствовал себя неловко, когда почтительный слуга знаками пригласил его обедать и молча прислуживал ему за столом, он же не мог произнести ни слова на понятном индусу языке.

Ранним утром следующего дня Эгион приступил к своим занятиям. В доме появился красивый черноглазый юноша, которого Бредли представил Эгиону, звали его Вьярденья, он должен был обучать миссионера хиндустани. Учтивый молодой индиец бегло говорил по-английски и имел безукоризненные манеры; правда, когда ничего не подозревающий англичанин протянул ему руку, чтобы поздороваться, он в ужасе отпрянул, дальнейшем неизменно уклонялся ОТ любого соприкосновения с белым человеком, ибо коснуться европейца значило бы осквернить себя — индус принадлежал к одной из высших каст. Он также ни за что не соглашался сесть на стул, если перед тем на нем сидел белый, каждый день он приносил с собой скатанный в трубку красивый плетеный коврик, расстилал его на кирпичном полу и садился, поджав ноги, но сохраняя прямую и горделивую осанку. Ученик, чье прилежание, повидимому, вполне удовлетворяло учителя, попытался перенять у него это уменье и во время занятий корчился на таком же коврике, несмотря на то, что на первых порах спина и ноги с непривычки сильно болели. Терпеливо и старательно заучивал он слово за словом, начав с самых обычных приветствий, которые индийский юноша с улыбкой повторял снова и снова, не зная усталости; каждый день он храбро бросался в схватку с гортанными и горловыми звуками чужого языка, которые поначалу казались ему каким-то невнятным клекотом и которые теперь он научился различать и произносить.

Если хиндустани оказался удивительным языком и предобеденные часы пролетали поэтому как один миг в обществе учтивого наставника, который держался так, будто он — наследный принц, лишь в силу отпрыску обстоятельств вынужденный давать уроки семейства, то в послеобеденное время и особенно вечерами Эгион чувствовал глубокое одиночество. Отношения с хозяином дома оставались неопределенными, держался же он с Эгионом не то как благодетель, не то как своего рода начальник; впрочем, Бредли редко сидел дома, обычно он приходил пешком или приезжал на лошади из города в полдень к обеду, во время которого восседал во главе стола, иной раз он приглашал своего секретаря англичанина, после обеда часа два-три лежал на веранде и курил, а под вечер снова отправлялся в свою городскую контору или на склад. Ему случалось иногда и уезжать на несколько дней, чтобы закупить продовольствие, и его сосед ничего не имел против, ибо при всех стараниях так и не сумел подружиться с грубым и неразговорчивым торговцем. Да к тому же было в образе жизни мистера Бредли нечто, чего молодой миссионер никак не мог бы одобрить. Время от времени Бредли и его секретарь по вечерам напивались допьяна, потягивая смесь рома, воды и лимонного сока; в первые дни по приезде молодой проповедник не раз получал приглашение присоединиться к ним, но всякий раз отвечал вежливым отказом.

При таких обстоятельствах повседневная жизнь Эгиона не отличалась особым разнообразием. Он было попробовал применить на практике свои скудные познания в хиндустани и, чтобы скоротать долгие тоскливые часы перед приходом вечера, когда деревянный дом из-за палящего зноя превращался в осажденную крепость, стал наведываться в кухню и заводить разговоры со слугами. Повар-магометанин нагло не ответил на приветствие, сделав вид, будто вообще не замечает Эгиона, зато водонос и мальчик-слуга, которые часами просиживали на циновках без всякого дела и жевали бетель, были не прочь позабавиться тем, как белый господин силится что-то сказать на хиндустани.

Но однажды на пороге кухни вдруг вырос Бредли, он появился как раз в ту минуту, когда эти два пройдохи шлепали себя по ляжкам и во все горло хохотали, потешаясь над произношением и ошибками миссионера; при виде такого веселья Бредли поджал губы, немедленно наградил затрещиной боя, дал пинка водоносу и молча увел из кухни испуганного Эгиона. Когда они вошли в комнату, Бредли довольно зло сказал:

— Сколько раз нужно вам повторять: вы не должны якшаться с этой публикой. Вы ведь портите моих слуг. Конечно, конечно — из лучших побуждений. Но это же ни в какие ворота не лезет: англичанин выставляет себя на посмешище перед черномазыми наглецами!

Прежде чем обиженный Эгион успел что-либо возразить, Бредли вышел вон.

На людях одинокий миссионер бывал лишь по воскресеньям, когда посещал церковь, что делал весьма аккуратно, однажды он даже произнес проповедь, заменив здешнего довольно нерадивого священника-англичанина. У себя дома Эгион с любовью проповедовал крестьянам и ткачам, здесь же, перед этой холодной паствой, — богатые коммерсанты, усталые болезненные дамы, жизнерадостные молодые чиновники — он почувствовал отчуждение и скуку. Торгашеская расчетливость или же властность и авантюристическая складка этих людей, выжимавших соки из богатой страны, но не находивших для ее уроженцев ни единого доброго слова, претили ему, и постепенно все его представления переменились, он

неизменно брал индусов под свою защиту, напоминал европейцам об их долге перед здешним народом и потому вскоре снискал всеобщие насмешки, неприязнь и презрение, прослыв фантазером и простаком.

Порой ему бывало горько при мысли о том, сколь незавидно его нынешнее положение, но в такие минуты душа Эгиона находила утешение, которое еще ни разу его не обмануло. Он собирался в путь, подвешивал к поясу ботанизирку, брал сачок, к которому приделал длинную тонкую рукоять из бамбука. Именно то, на что без конца жаловались англичане — изнурительный зной, тяжелый климат Индии, — его восхищало и радовало, потому что он был бодр душой и телом и не позволял себе разнежиться. Для естественнонаучных занятий и увлечений эта страна была поистине необъятной сокровищницей: здесь на каждом шагу ожидали путника невиданные цветы и травы, бабочки и птицы, и Эгион решил со временем непременно узнать имена всех этих незнакомцев. Редкостные ящерицы и скорпионы, громадные толстые сороконожки и прочие сказочные создания уже меньше его пугали, а после того, как он храбро убил деревянным ведерком большую змею, заползшую в ванную комнату, он все более ощущал, как отступает его страх перед жуткими тварями.

Когда он впервые накрыл сачком великолепную крупную бабочку и увидал: вот она, поймана; когда осторожно кончиками пальцев высвободил гордого яркого мотылька, чьи широкие крылышки, припорошенные благоуханной пыльцой, лоснились матовым блеском, сердце у него забилось от неуемной радости, какой он не знал с далеких дней детства, когда после долгой отчаянной гонки впервые поймал горделивого махаона. Весело привыкал он к суровым джунглям и не терял присутствия духа, когда увязал вдруг в коварных топях, в глубине тропического девственного леса, когда преследовали его злобными воплями обезьяны или набрасывались на него свирепые полчища муравьев. Лишь однажды он пал на колени, укрывшись за стволом огромного каучукового дерева, шепча молитву и дрожа, ибо грянул в тот миг грозовой гром в чащобе и содрогнулась земля под тяжкой поступью слонов. Он привык просыпаться в прохладной комнате ранним утром от яростного рева обезьян, что раздавался в ближнем лесу, привык к ночному вою шакалов. Твердость появилась в его глазах, светлых на смуглом и помужски огрубевшем лице.

Он теперь уже лучше знал город, но милей его душе были мирные, зеленые, словно сады, деревни, и чем внимательнее присматривался он к индусам, тем больше они ему нравились. Чужд и крайне досаден был ему лишь один обычай низших индийских каст, по которому женщинам

дозволялось ходить голыми до пояса. Видеть на улице нагие женские плечи, шею и грудь — с этим миссионер едва ли мог когда-нибудь примириться, хотя многие индианки были хороши и нагота их выглядела в высшей степени естественно благодаря густо-бронзовому загару, покрывавшему упругую кожу, и той вольной непринужденности, с какой держались женщины бедняков.

Наряду с этим непристойным обычаем ничто не доставляло ему стольких тревог и забот как загадка, которой оставалась для него духовная жизнь этих людей. Куда бы он ни кинул взгляд, всюду царила религия. Несомненно, в Лондоне даже в дни великих церковных празднеств нельзя было увидеть и сотой доли того благочестия, какое являлось здесь взору на каждом шагу и в самые обычные будни: повсюду были храмы, изображения богов, молитвы и жертвоприношения, церемонии и шествия, молящиеся и жрецы. Но кто же в силах найти концы в этом запутанном переплетении верований? Брахманы и магометане, огнепоклонники и буддисты, приверженцы Шивы и Кришны[20], носящие тюрбан и бритоголовые, заклинатели змей и служители священных черепах. Где же бог, которому поклоняются все эти заблудшие? Каков его облик, какой из множества культов самый древний, самый священный и чистый? Этого никто не знал, и самим индийцам это было совершенно безразлично: тот, кого почемулибо не устраивала вера отцов, принимал другую веру, или отправлялся странствовать в поисках новой религии, или же создавал ее сам. Богам и духам, чьих имен никто не знал, приносились жертвы — кушанья в маленьких мисочках, и при этом сотни обрядов, храмов, жрецов мирно соседствовали друг с другом и никому из приверженцев какой-то веры не приходило в голову ненавидеть или тем более убивать иноверцев, что на родине Эгиона, в христианских землях, было в порядке вещей. Многое казалось ему даже милым, прелестным — голоса флейт и нежность жертвенных цветов, и многие, многие лица верующих были преисполнены мира и покойной безмятежной ясности, какой не увидишь на лицах англичан, сколько ни ищи. Прекрасной и благой счел Эгион и строго соблюдавшуюся индусами заповедь, которая запрещала им убивать животных, и порой он стыдился и подыскивал себе оправдания, когда безжалостно умерщвлял и насаживал на булавки бабочек и жуков. Но вместе с тем среди этих народов, почитавших священное творение бога во всякой букашке и искренне предававшихся молитве и богослужению в храмах, обыденными, заурядными вещами были ложь и воровство, лжесвидетельство и подлог, ни в одной душе подобное не вызывало ни возмущения, ни хотя бы удивления. И чем больше размышлял

благожелательный провозвестник истинной веры, тем более неразрешимой загадкой, презревшей законы логики и теорию, казался ему этот народ. Слуга, с которым Эгион возобновил свой беседы вопреки запрету Бредли, словно сроднился с ним душой, но однажды, спустя какой-нибудь час после столь дружеского разговора, выяснилось, что он украл батистовую рубашку; когда же Эгион мягко, но настойчиво потребовал ответа, слуга принялся клятвенно уверять, что знать ничего не знает, а потом с улыбкой сознался в воровстве, показал рубашку и доверчиво сказал, дескать, в ней есть небольшая дырочка, и он, стало быть, подумал, что господин эту рубашку уже не наденет.

В другой раз Эгиона поверг в растерянность водонос. Этот человек получал жалованье и стол за то, что два раза в день приносил воду из ближайшей цистерны в кухню и две ванные комнаты. Работал он только утром и вечером, днем же часами сидел в кухне или в хижине слуг да жевал бетель или кусочки сахарного тростника. Однажды другой слуга отлучился, и Эгион велел водоносу почистить костюм, к которому пристали во время прогулки семена трав. Водонос только засмеялся в ответ и спрятал руки за спину, а когда миссионер уже раздраженно повторил приказание, он в конце концов повиновался и выполнил пустяковую работу, но при этом жалобно причитал и даже пустил слезу, закончив же, со скорбным видом уселся на свое место в кухне и еще битый час возмущался и негодовал, словно в отчаянии. С бесчисленными трудностями, устранив множество недоразумений, Эгион наконец добрался до сути дела: оказывается, он тяжко обидел водоноса, приказав ему выполнить работу, которая не положена ему по чину.

Все эти мелкие события постепенно накапливались и в конце концов слились словно в некую стеклянную стену, вставшую между миссионером и индусами, из-за чего он был обречен на одиночество, от которого страдал все сильнее. И тем усерднее, с какой-то отчаянной жадностью занимался он изучением языка, в чем достиг немалых успехов; как горячо надеялся Эгион, овладев языком, он все-таки постигнет однажды и самый народ. Он все чаще отваживался заговорить на улице с каким-нибудь индусом, без толмача ходил к портному, в лавки, к сапожнику. Порой завязывался у него разговор с простыми людьми, он говорил с ремесленниками об их изделиях или с приветливой улыбкой хвалил малыша на руках у матери, и тогда в живой речи и в глазах этих людей языческой веры, но чаще всего в их добром детском счастливом смехе ему открывалась душа чужого народа, такая ясная и по-братски близкая, что на какое-то мгновенье вдруг исчезали все преграды и пропадала отчужденность.

Наконец он обнаружил, что почти всегда может найти доступ к детям и крестьянам, что, видимо, все его затруднения недоверчивость, вся испорченность горожан порождены ЛИШЬ ИХ общением с европейцами — торговцами и моряками. И тогда он начал все смелее и все дальше уезжать из города во время своих прогулок верхом. В карманах у него всегда были медяки, а иногда и сахар для детей, и когда где-нибудь среди холмов вдали от города он привязывал коня к стволу пальмы у глинобитного крестьянского дома, со словами приветствия входил под кровлю из тростника и спрашивал, не дадут ли ему воды или кокосового молока, то почти всегда завязывался бесхитростный дружеский разговор, причем мужчины, женщины и дети дивились и от всей души хохотали над его по-прежнему небезупречным языком, на что Эгион, впрочем, ничуть не обижался.

Пока что он не пытался говорить с людьми о милосердном Боге. Он считал, что спешить с этим не следует, да к тому же задача представлялась ему чрезвычайно деликатной, если вообще выполнимой, поскольку при всем старании, он по-прежнему не находил еще нужных индийских слов, чтобы передать с их помощью важнейшие понятия христианской Библии. Кроме того, он чувствовал, что не вправе навязываться этим людям в наставники и призывать их к столь серьезному изменению всей их жизни, прежде чем он узнает эту жизнь досконально, научится говорить на одном языке с индусами и жить одной с ними жизнью.

И потому его познавательные занятия затянулись. Он старался вникнуть в жизнь, труды и промыслы индийцев, спрашивал, как называются деревья, плоды, домашние животные и утварь, он постиг секреты обычного и заливного разведения риса, выращивания хлопка, изготовления джутовых веревок, рассматривал жилые дома, изделия гончаров, плетение из соломки, ткани, о которых слыхал еще на родине. Он смотрел, как розово-рыжие тучные буйволы тянут плуги по залитым водой рисовым полям, он узнал, как трудятся дрессированные слоны и как ручные обезьяны собирают для хозяина спелые орехи на высоких кокосовых пальмах.

Во время одной из прогулок, когда он ехал по мирной долине меж высоких зеленых холмов, его застиг неистовый грозовой ливень, и он поспешил укрыться в ближайшей хижине, до которой успел добраться. В маленьком домишке с обмазанными глиной стенами из бамбука находилась вся семья, эти люди приветствовали вошедшего незнакомца с боязливым удивлением. У хозяйки были седые волосы, крашенные хной в огненнорыжий цвет, когда же она приветливо улыбнулась гостю, оказалось, что и

зубы у нее ярко-красного цвета, и тем самым обнаружилось ее пристрастие к бетелю. Мужем хозяйки был высокий мужчина с серьезным взглядом, с не поседевшими еще длинными волосами. Поднявшись с пола, он с достоинством расправил плечи, царственным ответил гостю приветствие и протянул ему расколотый кокосовый орех; англичанин с наслаждением отпил сладковатого молока. В угол за каменным очагом тихонько спрятался при появлении чужого человека маленький мальчуган, и теперь там блестели из-под копны густых черных волос испуганные и полные любопытства глаза и мерцал на темной груди амулет из латуни ни одежды, ни других украшений на мальчике не было. Тяжелые гроздья бананов были подвешены дозревать под притолокой над входом, и нигде в этой хижине, куда свет проникал лишь через распахнутую дверь, не видно было примет бедности, всюду радовали глаз скромная простота и опрятность.

Слабое, повеявшее благоуханием далеких детских воспоминаний чувство родного дома, что с такой легкостью овладевает путешественником на чужбине при виде счастливой семьи у домашнего очага, слабое чувство родного дома, ни разу не коснувшееся души миссионера в бунгало Беркли, вдруг проснулось в Эгионе, и ему подумалось, что в эту индийскую хижину пришел он не так, как приходит путник, застигнутый непогодой в дороге, — нет, ему, заплутавшему на сумрачных жизненных перепутьях, здесь наконец-то забрезжили вновь смысл и радость естественной. Праведной, непритязательной жизни. По тростниковой крыше хижины то шелестел, то громко стучал буйный ливень, он стоял за порогом блестящей и плотной стеклянной стеной.

Хозяева весело, без стеснения беседовали с необычным своим гостем, но, когда под конец они почтительно задали вполне естественный вопрос, какие цели и намерения привели его в их страну, Эгион смутился и заговорил о другом. Снова, как уже не раз, скромному юноше показалось чудовищной самонадеянностью и дерзостью то, что он приехал сюда посланником далекого чужого народа, приехал отнять у этих людей их бога и веру и навязать им своих. Раньше он думал, что робость исчезнет, как только он получше овладеет языком индусов, но сегодня с неотвратимой ясностью осознал, что заблуждался, ибо чем лучше он понимал этот смуглый народ, тем больше чувствовал, что он не вправе и не желает властно вторгаться в его жизнь.

Ливень утих, мутные от тучной рыжей земли потоки катили вниз по горбатой улочке, лучи солнца прорвались сквозь влажно блестящие стволы пальм и слепящими яркими бликами вспыхнули на гладких гигантских

листьях банановых деревьев. Миссионер поблагодарил их за приют и хотел уже попрощаться с хозяевами, как вдруг пала тень и потемнело в маленькой хижине. Он быстро обернулся и увидел, что в хижину, бесшумно ступая босыми ногами, вошла юная женщина или девушка; при виде чужого человека она испугалась и бросилась в угол за очагом, где прятался мальчик.

— Поди сюда, поздоровайся с господином! — позвал ее отец. Девушка робко шагнула вперед и, скрестив руки на груди, несколько раз поклонилась. На ее густых черных волосах сверкали дождевые капли, англичанин несмело коснулся рукой ее волос и произнес приветствие; покорные шелковисто-текучие пряди были под его ладонью, и тут девушка выпрямилась и ласково улыбнулась, глядя на него прекрасными темными глазами. На шее у нее было ожерелье из розово-красных кораллов, над щиколоткой — массивный золотой браслет, и вся ее одежда состояла лишь из высоко подвязанного вокруг стана куска красно-коричневой материи. Так, в безыскусно простой красоте предстала она перед изумленным чужеземцем, и косые лучи солнца мягкими бликами играли на ее волосах и на гладких смуглых плечах, и ярко блестели ровные мелкие белые зубы под приоткрытыми юными губами. Роберт Эгион восхищенно смотрел на девушку, ему хотелось заглянуть в эти безмятежные кроткие глаза, но вдруг он смутился — влажное благоухание ее волос, нагие плечи и грудь привели его в смятение, и он поспешно опустил глаза, встретив невинный взгляд. Он достал из кармана маленькие стальные ножницы, которыми подстригал усы и ногти и пользовался при сборе растений для гербариев. Эти ножницы он протянул девушке, хорошо зная, что делает ценный и дорогой подарок. И она приняла дар нерешительно-робко, не веря своему счастью, а ее родители рассыпались в благодарностях; затем, когда Эгион попрощался и вышел из хижины, девушка выбежала за ним, схватила его левую руку и поцеловала. От легкого теплого прикосновения нежных лепестков ее губ Эгиона бросило в жар — с какой радостью он поцеловал бы эти губы! Но он только взял обе ее руки в свою, поглядел ей в глаза и спросил:

- Сколько тебе лет?
- Не знаю, ответила девушка.
- А как тебя зовут?
- Наиса.
- Прощай, Наиса, и не забывай меня!
- Наиса не забудет своего господина.

Он ушел и отправился домой в глубокой задумчивости, и когда уже вечером, в темноте, добрался до дому и вошел в свою комнату, то лишь тут

вспомнил, что за весь день не поймал ни одной бабочки, ни одного жука, не собрал ни цветов, ни листьев. Его жилище — холодный холостяцкий дом с бездельниками-слугами и хмурым суровым хозяином — еще никогда не казалось ему столь безотрадным и чужим, как в этот вечерний час, когда он зажег маленький масляный светильник и раскрыл перед собой на шатком столике Библию.

В эту ночь, когда после долгих беспокойных раздумий миссионер наконец заснул под назойливое жужжанье москитов, ему приснился удивительный сон.

Он брел по смутно-туманней пальмовой роще, на красно-коричневой земле играли желтые блики солнца. Попугаи кричали в вышине, обезьяны отчаянно храбро карабкались по бесконечно высоким колоннам стволов, крохотные, сверкающие, как драгоценные камни, колибри искрились яркими красками, всевозможные насекомые изливали радость жизни в звуках, игре красок или движений. Радостный миссионер, преисполненный благодарности и счастья, беспечно гулял среди этого великолепия; вот он подозвал плясавшую на канате-лиане обезьянку, и, смотри-ка, ловкий зверек послушно соскочил на землю и почтительно, как слуга, склонился перед Эгионом. И Эгион понял, что здесь, в этом блаженном уголке Божьего мира, он может повелевать, и немедля призвал к себе птиц и бабочек; и блистающим роем все они устремились к повелителю, он же взмахнул руками и принялся дирижировать, кивая в такт головой, подавая знаки глазами и щелкая языком; и все прекрасные птицы и мотыльки послушно водили хороводы **ЗОЛОТИСТОМ** воздухе, В торжественными процессиями, и дивный этот хор свистел и щебетал, стрекотал, жужжал и щелкал, они плясали в воздухе, гонялись друг за другом, выписывали величественные круги и веселые спирали. То был ослепительный яркий балет и концерт, вновь обретенный рай, и сновидец в этом гармоничном волшебном мире, покорном ему и подвластном, изведал наслаждение глубочайшее, почти болезненное, ибо в блаженстве был уже слабый привкус или предчувствие, предощущение его незаслуженности и мимолетности, что и подобает испытывать благочестивому миссионеру в минуты любого чувственного наслаждения.

И это пугающее предощущение не обмануло его. Восхищенный друг природы еще предавался созерцанию резвой кадрили обезьян и ласкал огромную бархатисто-голубую бабочку, доверчиво опустившуюся к нему на левую руку и, словно голубка, позволившую себя погладить, но уже первые тени страха и гибели метнулись вдруг в этой волшебной роще и омрачили душу мечтателя. Пронзительно вскрикнули в ужасе птицы,

порывистый ветер вскипел, зашумев над высокими кронами, радостный теплый солнечный свет потускнел и иссяк, птицы бросились кто куда, красивых крупных мотыльков, в страхе бессильных, умчал ветер. Взволнованно застучал ливень по листьям, и вдали прокатился по небосводу медлительный тихий громовый раскат.

И тут в лес вошел Бредли. Уже улетела последняя пестрая птица. Исполинского роста, мрачный, как призрак убитого короля, Бредли подошел, презрительно сплюнул на землю перед миссионером и принялся укорять его обидными, насмешливо-злыми словами за то, что он лентяй и обманщик, ведь лондонский патрон нанял его на службу и дал ему денег ради обращения язычников, а он ничего не делает, только прохлаждается, ловит букашек и гуляет по лесам. И подавленный Эгион признал правоту Бредли: да, он виновен во всех этих упущениях.

И тогда появился могущественный богатый коммерсант, английский патрон Эгиона, и с ним много английских священников, и они вместе с Бредли погнались за миссионером и гнались за ним через заросли и терновник, пока не выбежали на людную улицу в предместье Бомбея, где высился до небес индийский причудливый храм. В храм и из храма пестрым потоком текли людские толпы, голые кули и гордые брахманы в белых одеждах, напротив же, на другой стороне улицы, стояла христианская церковь, и над ее порталом было высеченное в камне изображение восседающего средь облаков Бога Отца со строгим отеческим взором и волнистою бородою.

Преследуемый миссионер взбежал на паперть Божьего дома, взмахнул руками и обратился к индусам с проповедью. Громким голосом он призвал их взглянуть и увидеть, что истинный Бог совсем иной, не такой, как их убогие божки — уродцы с хоботами или множеством рук. Он простер длань к скопищу сплетенных фигур на стенах индийского храма, затем — к изображению Бога над вратами своей церкви. Но как же он был напуган, когда, сам следуя своему указующему жесту, поднял глаза и увидел: Бог Отец преобразился, у него теперь было три головы и шесть рук, и вместо чуть глуповатой бессильной строгости на всех трех его лицах играла снисходительная и довольная тонкая улыбка, в точности та, что отличает наиболее утонченные изображения индийских богов. Обескураженный проповедник обернулся к Бредли, патрону и священникам, но все они исчезли; одинокий и беспомощный, он стоял на ступенях церкви, и тогда покинул его и Бог Отец, ибо всеми шестью руками приветственно махал он индийскому храму и божественно-безмятежно улыбался божествам индусов.

Всеми покинутый, опозоренный и растерявшийся, стоял Эгион на своей церковной паперти. Он закрыл глаза и не двигался с места, все надежды померкли в его душе, и со спокойствием отчаяния он ожидал, что язычники побьют его каменьями. Наступила мучительная тишина, но затем он почувствовал вдруг, что чья-то сильная и вместе с тем добрая рука отстранила его, и, открыв глаза, увидел, что каменный Бог Отец величаво, с достоинством шествует вниз по ступеням, и в ту же минуту со своих зрительских мест на стенах индийского храма начали спускаться полчища индийских богов. Всех их Бог Отец приветствовал, после чего вошел в индийский храм и, дружелюбно кивая, принял поклонение брахманов. Меж тем языческие боги со своими хоботами, кудряшками и узкими глазами один за другим направились в христианскую церковь и ко всему, что увидели в ней, отнеслись с одобрением, следом же за богами потянулись длинной вереницей молящиеся, и так произошло переселение богов и людей из индийского храма в церковь и из церкви в храм. В братском согласии зазвучали гонг и орган, и тихие смуглые индийцы возложили на строгий алтарь английской христианской церкви цветы лотоса.

А в самой середине торжественного этого шествия шла прекрасная Наиса с гладкими блестящими черными волосами и большими детскими глазами. Вместе со множеством верующих индусов она покинула старый храм и теперь, поднявшись по ступеням христианской церкви, стояла перед миссионером. Серьезно и с любовью поглядела она ему в глаза, поклонилась и подала цветок лотоса. И вот, в нахлынувшем восторге, он склоняется к ее ясному, спокойному лицу, целует в губы и заключает ее в объятия.

Но, не успев увидеть, как ответит ему Наиса, Эгион проснулся и понял, что лежит на своей кровати в полной темноте, встревоженный и разбитый. Болезненное смятение всех желаний и чувств было мучительно до отчаяния. Во сне ему неприкрыто явилось собственное «я», его слабость и малодушие, его неверие в свое призвание, и влюбленность в смуглую язычницу, и не подобающая христианину ненависть к Бредли, и нечистая совесть в отношении английского патрона. Все было так, все было правдой, и ничего нельзя было изменить.

Печальный, до слез взволнованный, он лежал в темноте. Хотел помолиться и не смог, хотел представить себе Наису в виде демона и осудить свое греховное увлечение — не смог и этого. В конце концов он встал, следуя не вполне ясному внутреннему побуждению, все еще во власти теней и томлений своего сна; он вышел из комнаты и направился к Бредли, движимый безотчетным желанием увидеть живого человека, найти

поддержку и вместе с тем — надеясь в смирении преодолеть постыдную неприязнь к Бредли и ценой откровенности обрести его дружбу.

Тихо ступая тонкими плетеными сандалиями, он прошел темной верандой к спальне Бредли, ее легкая дверь из бамбука доходила лишь до половины высоты дверного проема, и за нею в высокой комнате теплился слабый свет, потому что Бредли, как многие европейцы в Индии, имел привычку оставлять на ночь маленький масляный светильник. Эгион осторожно нажал на легкие створки двери и вошел.

Слабый фитилек плавал в стоявшей на полу глиняной мисочке, вверх по голым стенам тянулись огромные тусклые тени. Над огоньком быстро кружила, шурша крыльями, коричневая ночная бабочка. Большой кисейный полог над широкой постелью был плотно сдвинут. Миссионер поднял светильник, подошел к кровати и отодвинул полог. Он уже хотел окликнуть спящего, как вдруг с испугом увидел, что Бредли не один. Он лежал на спине, прикрытый тонкой шелковой ночной рубахой, и его лицо с поднятым вверх подбородком выглядело сейчас ничуть не более мягким или дружелюбным, чем днем. Рядом же с Бредли лежала обнаженная с длинными черными волосами. Она лежала на боку, и ее спящее лицо было обращено к миссионеру. Он узнал ее — это была высокая крепкая девушка, что раз в неделю приходила в дом за бельем для стирки.

Не закрыв полог, Эгион бросился вон из комнаты. У себя он снова попытался заснуть, но не смог: пережитое в тот день, удивительный сон и, наконец, вид обнаженной спящей женщины безмерно его взволновали. Вместе с тем его неприязнь к Бредли еще усилилась, и он со страхом думал о том, что утром за завтраком должен будет увидеться с Бредли, поздороваться с ним. Но более всего его смущало и мучило сомнение: обязан ли он по долгу священника укорять соседа за неправедную жизнь и пытаться его исправить? Вся натура Эгиона этому противилась, но долг требовал, чтобы он поборол свою трусость и бесстрашно воззвал к совести грешника. Он зажег лампу и несколько часов кряду, мучаясь из-за жужжанья назойливых москитов, читал Новый Завет, но не обрел ни уверенности, ни утешения. Он был готов проклясть всю Индию вообще или, по крайней мере, собственную любознательность и любовь к путешествиям, которые привели его сюда и загнали в тупик. Никогда еще будущее не виделось ему столь мрачным, никогда еще он не чувствовал себя столь неспособным к подвижничеству во имя веры, как этой ночью.

К завтраку он вышел с усталым лицом и темными тенями у глаз, сидя за столом, хмуро помешивал ароматный чай и долго с раздражением очищал от кожуры банан, пока не появился Бредли. Тот поздоровался, как всегда, кратко и холодно, затем громко крикнул боя и слуг, пустил их рысью, привередливо выбрал из связки самый спелый золотистый банан, энергично, с властной миной съел его, меж тем как слуга вывел его лошадь на залитый солнцем двор.

- Мне хотелось бы обсудить с вами один предмет, сказал миссионер, когда Бредли уже собрался встать из-за стола. Тот бросил на Эгиона хмурый взгляд.
- Вот как? У меня мало времени. Что, непременно сейчас вам это нужно?
- Да, так будет лучше. Мне кажется, мой долг сказать вам, что мне стала известна ваша непозволительная связь с индианкой. Вероятно, вы понимаете, насколько неприятно мне...
- Неприятно! воскликнул Бредли, вскочив и злобно расхохотавшись. Вы, сударь, больший осел, чем я думал! Как вы ко мне относитесь, мне, разумеется, абсолютно безразлично, но вы шпионите за мной в моем доме по-моему, это подло. Ну, тянуть волынку незачем. Даю вам сроку до воскресенья. Будьте любезны за это время подыскать себе в городе другое жилье. В моем доме я не потерплю вас больше ни дня!

Эгион был готов к резкому ответу, но отнюдь не к подобному обороту дела. Однако он не испугался и сдержанно сказал:

— Мне будет только приятно избавить вас от обременительного долга гостеприимства. Всего доброго, мистер Бредли.

Эгион вышел за дверь, и Бредли проводил его внимательным взглядом — и недоумевая, и забавляясь. Потом он разгладил свои жесткие усы, ухмыльнулся, свистнул собаку и спустился по деревянным ступеням во двор, собираясь ехать в город.

Оба в душе были довольны, что произошла эта быстрая грозовая стычка и выяснение отношений. Однако к Эгиону теперь внезапно подступили заботы и вопросы, которые еще час назад маячили где-то в приятном далеке. И чем серьезней он размышлял о своем нынешнем положении, чем больше убеждался, что ссора с Бредли немногого стоит и что, напротив, распутывание густого переплетения множества сложностей стало неумолимой необходимостью, тем большая ясность и благодать воцарялись в его мыслях. Житье в этом доме, бездеятельность, неутоленные желания и попусту растраченное время успели уже стать для него мукой, и простая натура Эгиона не вынесла бы ее дольше, а потому он радовался окончанию своей полуневоли и не заботился о том, что ждет его впереди.

Был ранний утренний час, и один из уголков сада, любимое место

Эгиона, еще лежал в прохладной полутени. Ветви разросшихся кустов склонялись здесь над маленьким, облицованным камнем бассейном; когдато он был построен для купанья, но со временем пришел в запустение, и теперь в нем обитала семейка желтых черепах. Сюда Эгион принес бамбуковое кресло и, удобно расположившись, стал смотреть на бессловесных тварей, а те нежились в лености и благодати под теплой зеленой водой, безмятежно поглядывая вокруг умными круглыми глазками. По ту сторону бассейна находился хозяйственный двор, там, как обычно, сидел в уголке ничем не занятый мальчик-грум и что-то напевал — монотонный, чуть гнусавый звук песни набегал легкими волнами и растекался в теплом воздухе; после бессонной, взволнованной ночи к Эгиону незаметно подкралась усталость, он закрыл глаза, бессильно уронил руки и заснул.

Проснувшись от укуса какой-то мошки, он со стыдом обнаружил, что проспал почти до обеда. Но теперь он чувствовал свежесть, ничто его не омрачало, и, не откладывая на потом, он принялся наводить порядок в своих мыслях и желаниях, потихоньку распутывать сложную путаницу своей жизни. И тут он с несомненной отчетливостью понял то, что уже давно сковывало его, что наполняло страхами его сны: конечно, приехав в Индию, он поступил хорошо и разумно, и все же ни подлинного призвания в душе, ни побуждения для деятельности миссионера у него нет. Он был достаточно скромен, чтобы признать в этом свое поражение и досадный изъян, однако причин для отчаяния не было. Напротив, теперь, когда он решился подыскать себе более подходящее занятие, ему подумалось, что именно Индия с ее богатствами может стать его надежным пристанищем и новой родиной. Конечно, жаль, что эти индусы сделали ставку не на тех богов, на каких следовало, да только не его это дело — пытаться что-либо здесь изменить. Он призван покорить эту страну для себя и для других, взять от нее все лучшее, отдать же ей свою зоркость, свои знания, свою жадную до дела молодость, он с радостью будет трудиться там, где найдется для него применение.

И в тот же день вечером, после беседы, занявшей не более часа, он был принят на службу неким проживающим в Бомбее мистером Стерроком и стал его секретарем и смотрителем кофейной плантации вдали от города. Стеррок обещал переправить в Лондон письмо Эгиона, в котором он сообщал бывшему хозяину о своем решении и обязался вскоре вернуть все, что задолжал. Когда новоиспеченный смотритель плантации вернулся в свое жилище, Бредли без сюртука сидел в одиночестве за столом и ужинал. Прежде чем присоединиться к нему, Эгион сообщил о произошедшем.

Не переставая жевать, Бредли кивнул, подлил виски в свой бокал с водой и сказал почти дружелюбно:

— Садитесь, ешьте. Рыба уже остыла. Так, значит, мы теперь в своем роде коллеги. Гм, желаю успеха. Выращивать кофе, я уверен, легче, чем обращать индусов, а пользы от этой деятельности, пожалуй, не меньше. Вот уж не думал, что вы так умны, Эгион!

Плантация, где предстояло служить Эгиону, находилась в двух днях пути от города, выехать туда в сопровождении нескольких кули он должен был через день, так что на устройство всех дел только этот день у Эгиона и оставался. Он попросил разрешения взять завтра верховую лошадь, Бредли удивился, но не стал ни о чем спрашивать; и вот, когда слуга унес лампу, вокруг которой кружила мошкара,, они остались вдвоем и сидели лицом к лицу в теплой темноте индийского вечера и оба чувствовали, что сейчас они ближе друг к другу, чем когда-либо за все долгие месяцы вынужденного житья под одной крышей.

- Скажите, нарушил Эгион долгое молчание, вы, конечно, с первого дня не поверили в мое миссионерское будущее?
- Нет, почему же, спокойно возразил Бредли. Я не мог не заметить, что вы серьезно к нему относитесь.
- Но вы же наверняка заметили и то, насколько плохо я подхожу для того, что должен был здесь делать и кем быть. Почему вы не сказали мне об этом?
- Меня никто не уполномочил. Я не люблю, когда советчики суются в мои дела, так что и сам в чужие дела не вмешиваюсь. Да и повидал я здесь, в Индии, немало сумасбродных затей, которые, однако, кончались успешно. Обращать в христианство было вашим делом, не моим. А теперь вы и без чужой подсказки поняли многие из своих ошибок! И остальные со временем поймете...
 - Какие, например?
 - Например, упрек, что вы сегодня швырнули мне в лицо.
 - Ах, из-за девушки!
- Ну конечно. Вы были священником и все же вы должны согласиться, что здоровый мужчина не может жить, работать и сохранить здоровье, если годами остается без женщины. Бог ты мой, да зачем же краснеть из-за таких пустяков! Ну, посудите сами: белый человек в Индии, если не привез с собой жену-англичанку, не имеет большого выбора. Английских девушек здесь нет. Тех девочек, что родились здесь, сразу отправляют домой в Европу. Остается выбирать либо портовые девки, либо индианки. По мне, так лучше уж индианки. Что же в этом дурного?

- О, мистер Бредли, вот тут мы не понимаем друг друга! Как я считаю и как учат нас Библия и наша церковь, всякое сожительство вне брака дурно и недостойно.
 - Но если ничего другого нет?
- Почему же нет? Если мужчина по-настоящему любит девушку, он должен на ней жениться.
 - Да не на индианке же!
 - А почему не на индианке?
- Эгион, вы великодушны, не то что я! Пусть мне лучше отрубят палец, чем заставят меня жениться на цветной, понимаете? Со временем и вы к этому придете.
- Увольте, надеюсь, что не приду. Пожалуй, раз уж мы об этом заговорили, скажу: я люблю индийскую девушку и намерен на ней жениться.

Лицо Бредли потемнело.

- Не делайте этого, почти попросил он.
- Непременно сделаю! с воодушевлением ответил Эгион.
- Прежде я обручусь с нею и буду развивать и просвещать ее, а потом, когда она удостоится крещения в христианскую веру, мы обвенчаемся в нашей церкви.
 - Как же ее зовут? задумчиво спросил Бредли.
 - Наиса.
 - А ее отца?
 - Не знаю.
- Ну, до крестин пока далеко. Откажитесь-ка лучше от своей идеи! Естественно, почему бы и не влюбиться нашему человеку в индийскую девицу, среди них попадаются довольно хорошенькие. Говорят, им свойственна верность, из них, надо полагать, выходят покорные жены. И все-таки для меня они вроде зверьков, эдакие резвые козочки или грациозные косули, но не такие же люди, как я.
- Разве это не предрассудок? Все люди братья, а индийцы древний благородный народ.
- Конечно, вам виднее, Эгион. Что касается меня, я весьма глубоко чту предрассудки.

Бредли встал, пожелал Эгиону доброй ночи и ушел в свою спальню, где спал вчера с хорошенькой индианкой-прачкой. «Вроде зверьков», — сказал Бредли, и Эгион задним числом мысленно возмутился этими словами.

На другой день, еще до того как Бредли вышел к завтраку, Эгион велел

седлать лошадь и ускакал в тот ранний час, когда обезьяны, как всегда по утрам, подняли крик среди сплетавшихся ветвей. И солнце стояло еще не высоко, когда он подъехал к индийскому дому, где впервые повстречал хорошенькую Наису; он спешился и, привязав коня, направился к хижине. У порога сидел голый малыш — сын хозяев — и, смеясь, играл с резвой козочкой, бодавшей его в плечо.

Гость хотел уже свернуть с дороги и войти в дом, и тут навстречу ему, перешагнув через сидящего мальчика, вышла девушка, в которой Эгион сразу узнал Наису. В правой руке она небрежно несла пустой узкогорлый кувшин для воды и прошла мимо Эгиона, не обратив на него никакого внимания, он же в восхищении пошел за него следом. Вскоре нагнав девушку, он обратился к ней со словами приветствия. Тихо ответив, она подняла голову и взглянула своими прекрасными золотисто-карими глазами так холодно, будто не знала Эгиона, когда же он хотел взять ее за руку, испуганно отшатнулась и, ускорив шаг, поспешила дальше. Он дошел за ней до выложенного камнями водоема, где вода из слабого родничка скупой тонкой струйкой бежала по замшелым старым камням; он хотел помочь девушке набрать воды и отнести в дом кувшин, однако она молча оттолкнула его руку и с досадой нахмурилась. Эгиона удивила и обескуражила такая неприступность, ОН нашарил приготовленный для Наисы подарок, и все же ему было горько видеть, как она, вдруг забыв о всякой неприступности, схватила протянутую вещицу. Это был маленький ларчик с хорошенькими узорами в виде цветов из эмали и круглым зеркальцем на внутренней стороне крышки. Эгион показал, как открывается крышка, и положил вещицу на ладонь девушки.

- Мне? спросила она, подняв на него детский взгляд.
- Тебе, ответил Эгион и, когда она играла вещицей, погладил ее по бархатисто-мягкой руке и по длинным черным волосам.

Поскольку она поблагодарила за подарок и не слишком решительно потянулась к наполненному кувшину, Эгион отважился сказать несколько нежных и ласковых слов, однако девушка, вероятно, не вполне их поняла; подыскивая нужные слова, он растерянно стоял рядом с нею и в эту минуту внезапно почувствовал, что пропасть между ним и девушкой бездонна, и с грустью подумал о том, какая малость связывает его с нею и как много, много времени должно пройти, прежде чем она сможет стать его невестой, его подругой, научится понимать его язык, понимать его самого, разделять его мысли.

Тем временем она медленно пошла назад к хижине, и Эгион тихо пошел рядом с нею. Мальчик, увлекшись игрой и позабыв обо всем,

гонялся за козочкой, его дочерна загоревшая спина отливала на солнце бронзовым блеском, раздутый от риса живот казался непомерно большим по сравнению с тоненькими ножками. Англичанин вдруг с легкой неприязнью подумал, что, женившись на Наисе, породнится с маленьким дикарем. Чтобы отвлечься от этой мысли, он обернулся к девушке. Залюбовавшись восхитительно тонким личиком с большими глазами и нежным нетронутым ртом, он невольно подумал, не посчастливится ли ему уже сегодня впервые поцеловать эти губы.

От столь приятных размышлений его пробудило явление, внезапно, словно призрак, представшее его изумленному взору. Из темной хижины вышла, переступила порог и стояла теперь перед Эгионом вторая Наиса ее двойница, ее зеркальное отражение. Она улыбнулась, поздоровалась с Эгионом и вытащила из складок своей юбки что-то, что она с торжеством подняла над головой, что-то, что ярко блеснуло на солнце и что он мгновенье спустя узнал. Узнал ножнички, подаренные им Наисе, — та же девушка, кому он подарил сегодня ларчик с зеркальцем, в чьи прекрасные глаза глядел, чью руку гладил, была не Наиса, а ее сестра, и теперь, когда обе девушки стояли рядом друг с другом, похожие как две капли воды, Эгион почувствовал себя неслыханно обманутым И заблуждение. Две косули не столь схожи меж собой, как схожи были две эти девушки, и, если бы в эту минуту ему пришлось выбрать одну из них, увести и остаться с ней навсегда, он не смог бы сказать, кто из двоих та, кого он любит. Конечно, через минуту-другую он увидел, что подлинная Наиса чуть старше и чуть ниже ростом, чем ее сестра, но любовь, в которой еще минуту назад не было у него и тени сомнения, уже разломилась, распалась на две половинки, как и образ девушки, вдруг претерпевший у него на глазах столь внезапное, столь пугающее раздвоение.

Бредли ничего не узнал об этом происшествии, да он ни о чем и не расспрашивал, когда в обеденный час Эгион вернулся домой и молча сел за стол. И на следующее утро, когда кули упаковали и унесли сундуки и узлы Эгиона, когда отъезжавший еще раз поблагодарил того, кто оставался, и протянул на прощанье руку, Бредли ответил крепким рукопожатием и сказал:

— Счастливого пути, дорогой мой! Придет время — вы будете изнывать от тоски и желания увидеть вместо приторных индийских физиономий честное жесткое лицо британца! Вот тогда приходите ко мне, и мы сойдемся во всем, в чем нынче расходимся.

Герман Гессе. Легенда об индийском царе

Написана как отдельный рассказ в 1911 году. Перевод Р. Эйвадиса.

Давным-давно, в древней Индии, поклонявшейся сонмищу богов, за много веков до появления Гаутамы Будды, Возвышенного, жил один юный царь. Благословенный брахманами, он только что стал полноправным владыкой. Два мудреца, с которыми он связан был дружескими узами, учили его освящать свою плоть постом, покорять своей воле бушующие в крови ураганы и готовить свой разум к восприятию Всеединого.

В то же время меж брахманами как раз все сильнее разгорался спор о свойствах и мере власти богов, об отношении одного бога к другому и об отношении каждого из них ко Всеединому. Иные мыслители уже отрицали бытие каких-либо божеств, полагая, что имена богов суть лишь имена воспринимаемых частей невидимого целого. Другие горячо оспаривали это воззрение, отстаивая старые божества, их имена и образы, и утверждали, что как раз Всеединое есть не нечто обладающее сущностью, а лишь имя всей совокупности богов. То же было и со священными текстами гимнов, о которых одни говорили, будто они суть творения и, стало быть, изменяемы, в то время как другие считали их вечносущими и даже единственно неизменными. Здесь, как, впрочем, и во всех других областях священного познания, стремление к последней истине проявилось в сомнениях и спорах о том, что же есть сам Дух, а что лишь его имя, хотя.некоторые не признавали и этого различия и рассматривали Дух и слово, сущность и подобие как неотъемлемые части. Спустя почти два тысячелетия благороднейшие умы средневекового Запада спорили почти о том же самом. Как там, так и здесь, в этих спорах, кроме серьезных мыслителей и самоотверженных борцов, участвовало немало жирных фарисеев в рясах, которые, нисколько не заботясь об истине, малодушно помышляли лишь о том, как бы не допустить сомнений в необходимости жертв и жрецов, как бы свобода мысли и свобода суждений о богах не привели, чего доброго, к уменьшению власти и доходов священства. При этом они высасывали из народа все соки: стоит заболеть кому-нибудь из домочадцев или корове попы уже тут как тут, и никакими силами от них не избавиться, пока не снимешь с себя последнюю рубаху на пожертвования.

В спорах о последней истине не было согласия и меж теми двумя брахманами, что занимали особое место среди учителей жаждущего знаний царя. Так как они снискали славу выдающихся мудрецов, царь огорчался, видя их несогласие, и думал порой: «Если эти два мудрейших из мудрых не могут разрешить свой спор об истине, — как же могу я, несведущий в науках, надеяться когда-либо обрести истинное знание? Я хоть и не сомневаюсь в том, что может быть только одна, единственная и неделимая истина, но, как видно, даже брахманам не под силу постичь ее, положив конец всем спорам».

Когда же он говорил об этом своим учителям, они отвечали:

— Дорог много, цель же — одна. Постись, убивай страсти в своем сердце, читай священные гимны и размышляй над ними.

Царь охотно следовал совету и приумножил познания свои, но так и не мог достичь цели и узреть последнюю истину. Преодолевая кипящие в крови страсти, отринув похоть и плотские радости, почти совсем отказавшись от пищи, которая теперь состояла из одного банана и нескольких зерен риса в день, он очистился плотью и духом, сумел направить все усердие свое, всю силу и алчущую душу свою к заветной, последней цели. Священные тексты, казавшиеся ему прежде пустыми и унылыми, раскрылись перед ним во всей своей волшебной красе; в них обрел он глубочайшее утешение, и в диспутах и упражнениях разума он покорял отныне вершину за вершиной. Но ключ к последней тайне, к величайшей загадке бытия, он отыскать не сумел, и это омрачало его жизнь.

И решил царь подвергнуть плоть свою суровому испытанию. Запершись в самых дальних и сокровенных покоях своих, он провел сорок дней и сорок ночей без пищи, и ложем для его обнаженного тела служил холодный каменный пол. Истаявшая плоть его дышала чистотой, узкое лицо озарено было внутренним светом, и никто из брахманов не выдерживал его лучезарного взгляда. И вот по прошествии сорока дней он пригласил всех брахманов в храм для упражнения разума в разрешении трудных вопросов, а почетной наградой мудрейшим и красноречивейшим из них должны были стать белые коровы в золотом налобном убранстве.

Священники и мудрецы пришли, расселись по местам, и началась битва мыслей и речей. Они приводили, звено за звеном, всю цепь доказательств полного согласия мира чувственного и мира духовного, оттачивали умы в толковании священных гимнов, говорили о Брахме и об Атмане[21]. Они сравнивали сторукое Прасущество с ветром, с огнем, с водой, с растворенной в воде солью, с союзом мужчины и женщины. Они

выдумывали сравнения и образы для Брахмы, создающего богов могущественнее самого себя, и проводили различие между Брахмой творящим и Брахмой, заключающим в себя сотворенное; они пытались сравнивать его с самими собой; они блистали красноречием в диспуте о том, старше ли Атман своего имени, равно ли имя его сущности и не есть ли оно всего лишь его творение.

Царь вновь и вновь возглашал о новом состязании, испытывал мудрецов все новыми вопросами. Но чем усерднее были брахманы и чем больше речей звучало под сводами храма, тем сильнее чувствовал царь свое одиночество, тем сиротливее становилось у него на душе. И чем больше вопрошал он и внимал ответным речам, кивая головой в знак согласия, и одаривал достойнейших, тем нестерпимее жгла его сердце тоска по истине. Ибо ответы и рассуждения брахманов, как он убедился, лишь вертелись вокруг истины, не касаясь ее, и никому из присутствующих в храме не удавалось проникнуть за последнюю черту. И, перемежая вопросы с похвалами и наградами, он сам себе казался мальчиком, увлеченным игрой с другими детьми, славной игрой, на которую зрелые мужи взирают с улыбкой.

И вот посреди шумного собрания брахманов царь все больше погружался в себя, затворив врата своих чувств и направив пылающую волю свою на истину, о которой ему ведомо было, что к ней причастно все обладающее сущностью, что она сокрыта в каждом, а значит, и в нем самом. И так как внутренне он был чист — он, исторгнувший из себя за сорок дней и сорок ночей все шлаки души и тела, — то вскоре в нем самом забрезжил свет и родилось чувство насыщения, и чем глубже он погружался в себя, тем ярче разгорался этот свет перед внутренним оком его, подобно тому, как человеку, идущему по темной пещере к выходу, все ярче, с каждым шагом все пленительнее сияет луч приближающейся свободы.

Между тем брахманы все шумели и спорили, не заботясь о царе, который давно уже не отверзал уст, так что казалось, будто он глух и нем. Они все больше распалялись, голоса их звучали все громче и резче, а иные уже терзаемы были завистью при виде коров, которые должны были достаться другим.

Наконец взор одного из брахманов упал на безмолвствующего царя. Он оборвал свою речь на полуслове и указал на него вытянутым перстом, и собеседник его смолк и сделал то же, и другой, и третий, и, в то время как на другом конце храма многие еще шумели и ораторствовали, вблизи царя уже установилась мертвая тишина. И наконец все они затихли и не

шевелились, устремив глаза свои на владыку. Царь же сидел прямо, неподвижный взор его пребывал в бесконечном, и лик его подобен был торжественно-холодному сиянию далеких светил. И все брахманы склонили головы перед Просветленным и поняли, что диспут их был всего лишь ребячьей забавой, в то время как там, совсем рядом с ними, в образе их царя воплотился сам Бог, совокупность всех божеств.

Царь же, сплавив воедино все чувства свои и направив их внутрь, созерцал самую истину, неделимую, подобную некоему чистому свету, пронизывающему его сладостной уверенностью, как солнечный луч пронизывает самоцветный камень, и камень сам делается светом и солнцем и соединяет в себе Творца и творение. И когда он, очнувшись, окинул взором брахманов, — в глазах его искрился смех и чело его сияло, как солнечный диск. Он совлек с себя царские одежды, покинул храм, покинул город свой и страну свою и отправился нагим в леса, из которых никогда уже более не возвращался обратно.

Герман Гессе. Невеста

Написана в 1912 году, тематически связана с индийским путешествием писателя. Перевод Г. Снежинской

Синьора Риччиотти, с недавних пор поселившаяся вместе с дочерью Маргеритой в гостинице «Вальдштеттер Хоф» в Бруннене, принадлежала к тому типу белокурых и нежных, несколько вялых итальянок, что нередко встречается в Ломбардии и близ Венеции. Ее пухлые пальчики были унизаны дорогими кольцами, а весьма характерная походка, которая в те времена еще отличалась величаво-мягкой упругостью, все более и более напоминала уже манеру двигаться тех, о ком говорят «переваливается, как утка». Элегантная и, несомненно, в юности привыкшая к поклонению, синьора выделялась своей представительной внешностью, она носила изысканнейшие туалеты, а по вечерам пела под аккомпанемент фортепиано; голос у нее был хорошо поставленный, хоть и небольшой и, пожалуй, чуть слащавый, пела она по нотам, причем держала их перед собой, изящно округлив полные короткие ручки и отставив мизинец. Приехала она из Падуи, где ее муж, ныне покойный, когда-то был видным дельцом и политиком. При его жизни синьору Риччиотти окружала атмосфера процветающей добропорядочности, жили же они не по средствам, и после смерти супруга она ничуть не изменила своих привычек, а с отчаянной храбростью жила по-прежнему на широкую ногу.

Тем не менее нас вряд ли заинтересовала бы синьора Риччиотти, когда б не ее дочь Маргерита, миловидная тоненькая девушка, лишь недавно простившаяся с детством и вынесшая из пансиона для девиц некоторую предрасположенность к малокровию и плохой аппетит. То было восхитительно хрупкое, тихое, нежное существо с густыми белокурыми волосами; когда она гуляла в саду или шла вдоль улицы в одном из своих простых бледно-голубых или белых летних нарядов, все радовались, на нее глядя. В тот год синьора Риччиотти начала вывозить дочь, тогда как в Падуе они жили довольно замкнуто, и нередко случалось, что на лицо матери вдруг набегало, ничуть, впрочем, не умаляя ее привлекательности, легкое облачко недовольства, ибо в глазах новых знакомых — обитателей гостиницы — дочь явно затмила собой старшую Риччиотти. Синьора

всегда до сего времени была любящей матерью, что, однако, не мешало ей втайне лелеять мечту об устройстве своей собственной жизни, теперь же она постепенно расставалась с этими невысказанными надеждами и все чаще возлагала их на будущее Маргериты, подобно тому как снимает добрая мать украшения, что носила со дня свадьбы, и надевает их на шею подросшей дочери.

С первых же дней не было недостатка в молодых людях, проявивших интерес к стройной светловолосой падуанке. Но мать была настороже и мигом воздвигла между ними и дочерью крепостной вал солидности и высочайших требований, что отпугнуло иных любителей приключений. Ее дочь должна была получить в мужья лишь того, кто способен обеспечить Маргерите достойное существование, а поскольку все приданое девушки состояло единственно в ее красоте, то тем более следовало быть начеку.

Однако уже очень скоро в Бруннене объявился герой нашего романа, и события стали развиваться гораздо стремительнее и гораздо проще, чем могла предположить озабоченная родительница. Однажды в «Вальдштеттер Хоф» приехал молодой человек родом из Германии, он влюбился в Маргериту с первого взгляда и вскоре так решительно заявил о своих намерениях, как это делают лишь те, кто стеснен временем да и не любит ходить вокруг да около. У господина Штатенфоса времени и в самом деле было мало. Он служил управляющим чайной плантацией на Цейлоне и приехал в Европу ненадолго, в отпуск, — через два месяца ему необходимо было возвращаться на Цейлон[22], а снова увидеть Европу он мог не раньше, чем через три или четыре года.

Этот худощавый и загорелый молодой человек с властной манерой держаться не очень-то понравился синьоре Риччиотти, зато понравился прекрасной Маргерите, за которой он принялся пылко ухаживать с первых же минут после знакомства. Молодой человек был недурен собой и обладал той беспечной властностью, что свойственна европейцам, переселившимся в тропические страны, хотя от роду ему было всего двадцать шесть лет. Уже в том, что он прибыл с далекого волшебного острова Цейлон, было нечто романтическое, а опыт, приобретенный в дальних странствиях, давал ему подлинное превосходство перед теми, кто, никуда не уезжая, жил будничной жизнью. Штатенфос одевался обычной как истинный англичанин: смокинг ли, теннисный костюм, фрак или куртка альпиниста — все его вещи отличались первоклассной добротностью, багаж его составляло необычайно большое для холостяка число объемистых чемоданов, и вообще он, как видно, привык, чтобы все в его жизни было первоклассным и добротным. Курортным занятиям и развлечениям он

предавался со спокойной деловитостью, деловито и добросовестно делал все, что положено делать, но ничем, похоже, не увлекался страстно, будь то прогулки в горы или гребля, игра в теннис или карты. Казалось, он лишь случайный гость в этих краях, гость из далекого дивного мира, мира пальм и аллигаторов, мира, в котором такие люди, как он, живут в красивых белых виллах, где толпы цветных слуг с муравьиным усердием обмахивают господина опахалами и подносят ему воду со льдом. Лишь рядом с Маргеритой он терял свою невозмутимость и некое экзотическое превосходство и всякий раз, заговорив с девушкой, сбивался на страстную смесь немецких, итальянских, французских и английских слов; он ходил по пятам за дамами Риччиотти, читал им газеты, носил за ними пляжные шезлонги и ничуть не скрывал от окружающих своего восхищения Маргеритой, так что прошло совсем немного времени, а уже весь курорт с жадным любопытством наблюдал, как он ухаживает за красавицей итальянкой. Этот роман привлек к себе пристальное внимание публики, став для нее чем-то вроде спортивной борьбы, и кое-кто даже заключил пари насчет ее исхода.

Все это было крайне неприятно синьоре Риччиотти, в иные дни она с видом оскорбленной добродетели дефилировала по отелю, шурша юбками, тогда как у Маргериты были заплаканные глаза, а Штатенфос с непроницаемой миной сидел на веранде и пил виски с содовой. Между тем он и девушка уже решили, что ни за что не расстанутся, и, когда однажды душным утром синьора Риччиотти с негодованием заявила дочери, что короткие отношения с молодым цейлонским плантатором бросают тень на ее доброе имя и что человек, не имеющий солидного состояния, вообще не смеет претендовать на ее руку, очаровательная Маргерита заперлась на ключ в своей комнате и выпила содержимое пузырька с пятновыводителем, считая, что это яд, — в действительности же результатом было лишь то, что у нее снова пропал только-только появившийся аппетит и лицо стало еще бледнее и одухотвореннее, чем прежде.

В тот же день, спустя несколько часов, которые Маргерита пластом пролежала на диване, а ее мать посвятила переговорам со Штатенфосом, происходившим в нанятой для такого случая лодке, состоялась помолвка, и на другое утро все уже могли видеть, как энергичный заокеанский претендент завтракает за столом синьоры Риччиотти с дочерью. Маргерита была счастлива, ее мать, напротив, видела в помолвке неизбежное, но, возможно, все же преходящее зло. «В конце концов, — размышляла она, — дома о помолвке никто не узнает, а если со временем подвернется более выгодная партия, то жених-то будет на Цейлоне и с ним можно будет не

считаться». И потому она настояла, чтобы Штатенфос не откладывал отъезд, и даже сама пригрозила уехать и прекратить всякое знакомство с молодым человеком, если тот не откажется от своей идеи: обвенчаться без промедления и уехать на Цейлон вместе с молодой женой.

Жениху оставалось лишь покориться — и он, стиснув зубы, покорился, потому что, едва помолвка состоялась, мать и дочь словно стали единым целым и ему приходилось изобретать тысячи уловок, чтобы побыть наедине с невестой хоть минуту. Он купил для нее в Люцерне прекрасные подарки, но вскоре телеграфные депеши вызвали его по делам в Лондон, а вернувшись, он увидел свою красавицу невесту всего один раз, в Генуе[23], куда она приехала с матерью, чтобы встретить его на вокзале; он провел с ними вечер, и рано утром на другой день мать с дочерью проводили его в гавань.

— Я вернусь самое позднее через три года, и мы поженимся, — сказал он, уже стоя на сходнях. Но вот сходни убрали, заиграл оркестр, и пароход компании Ллойда медленно вышел из гавани.

Провожавшие спокойно уехали в Падую, жизнь их вошла в привычную колею. Синьора Риччиотти, однако, не сдавалась. «За год, — думала она, — все успеет перемениться, летом снова поедем на какойнибудь модный курорт, а там уж наверняка появятся новые, более заманчивые виды на будущее». Тем временем от далекого жениха часто приходили пространные письма, и Маргерита была счастлива. Она вполне оправилась после треволнений минувшего лета и на глазах расцветала, никакого малокровия или плохого аппетита не было теперь и в помине. Сердце ее было отдано, судьба — обеспечена, и, пребывая в непритязательно-спокойном довольстве, она сладко мечтала о будущем, немного занималась английским языком и завела красивый альбом, куда наклеивала великолепные фотографии пальм, храмов и слонов, которые присылал ей жених.

На следующий год они не поехали летом за границу, а провели несколько недель на скромном курорте в горах. Со временем мать оставила свои надежды и перестала строить честолюбивые планы, в которых не было места мечтам ее стойкой дочери. Из Индии иногда приходили посылки — тонкий муслин и прелестные кружева, шкатулки, сделанные из иголок дикобраза, безделушки из слоновой кости; их показывали знакомым, и скоро уже вся гостиная была заставлена индийскими вещицами. Но однажды из Индии пришло известие, что Штатенфос тяжело заболел и доктора отправили его на лечение в горы; с той поры Риччиоттимать уже не связывала с молодым человеком каких-либо ожиданий, но

вместе с дочерью молилась об исцелении ее далекого возлюбленного, каковое благополучно и произошло в скором времени.

Тогдашнее состояние спокойного довольства жизнью обеим Риччиотти было непривычно. У синьоры, по сравнению с прошлым, прибавилось буржуазности, она немного постарела и сильно растолстела, так что петь ей стало трудно. Теперь отпала необходимость бывать на людях и производить впечатление состоятельных дам, на туалеты они тратили мало и были вполне удовлетворены непринужденной жизнью в четырех стенах; теперь не нужно было экономить ради дорогостоящих выездов и потому можно было позволить себе кое-какие маленькие баловства.

И тогда открылось — при том, что сами участницы событий едва ли это заметили, — как удивительно походила Маргерита на свою мать. После истории с пятновыводителем и прощания в Генуе по-настоящему глубокая печаль не омрачала жизнь девушки, она расцвела, округлилась и день ото дня все полнела, а поскольку ни душевные волнения, ни физические нагрузки не препятствовали ее развитию — играть в теннис она давно бросила, — то вскоре с хорошенького бледного личика Маргериты исчезла тень мечтательности или меланхолии, и стройная фигурка все более расплывалась, пока наконец девушка не превратилась в уютную толстушку, чего те, кто знал прежнюю Маргериту, и представить себе не могли бы. До поры до времени все, что в матери казалось комичным и гротескным, в юной девушке смягчали свежесть и нежное очарование юности, однако, вне всякого сомнения, Маргерита была предрасположена к полноте и обещала стать внушительной, прямо-таки колоссальной дамой.

Три года минули, как вдруг жених прислал отчаянное письмо, в котором объяснял, что не имеет возможности в ближайшее время получить отпуск. Однако доходы его за истекшие три года заметно возросли, и потому он предложил следующее: если в течение года он не сможет приехать в Европу, пусть его милая девочка приедет на Цейлон и хозяйкой войдет под крышу прелестной виллы, строительство которой вот-вот начнется.

Разочарование пережили, предложение жениха приняли. Синьора Риччиотти не обольщалась насчет дочери, понимая, что та утратила долю своего очарования, и поэтому было бы безрассудно возражать жениху и рисковать обеспеченным будущим Маргериты.

Такова предыстория, о которой я узнал позднее, развязку же видел, по воле случая, своими глазами.

Я сел в Генуе на пароход северо-германской компании Ллойда, отправлявшийся в Индокитай. Среди не слишком многочисленных

пассажиров первого класса мое внимание привлекла молодая итальянка, которая, как и я, села на пароход в Генуе и плыла в Коломбо к жениху. Она немного говорила по-английски. На корабле были еще невесты, совершавшие плавание кто на Пенанг, кто в Шанхай или Манилу, и эти храбрые юные девушки составили приятный, всем полюбившийся кружок, даривший окружающим немало чистых радостей. Пароход не прошел еще Суэцкий канал, а мы, молодые пассажиры, уже успели познакомиться и подружиться и нередко опробовали на дородной падуанке, которую прозвали Колоссом, свои познания в итальянском.

К несчастью, когда мы миновали мыс Гвардафуй, море посуровело и падуанку свалила тяжелейшая морская болезнь; если до сих пор мы смотрели на девушку как на забавный каприз природы, то теперь, когда она целыми днями неподвижно лежала в шезлонге, такая жалкая, все прониклись к ней сочувствием и любовью и оказывали всяческое внимание, хоть порой и не могли удержаться от улыбки, которую вызывала у нас ее необычайная толщина. Мы приносили ей чай и бульон, читали вслух по-итальянски, отчего она иной раз улыбалась, и каждый день утром и в полдень перетаскивали ее вместе с плетеным шезлонгом в самое спокойное затененное место на палубе. Лишь незадолго до прибытия парохода в Коломбо она почувствовала себя немного лучше, но и тогда все лежала в кресле, по-прежнему усталая и ко всему безучастная, с детским страдальческим и беспомощным выражением на добродушном пухлом лице.

Вдали показался Цейлон, и все мы помогли уложить чемоданы нашего Колосса; готовый к выгрузке багаж был перенесен на палубу, и тут после двухнедельного плавания на корабле началась неистовая суматоха, которая всегда поднимается с приходом в первый на пути крупный порт.

Всем не терпелось поскорей сойти на сушу; все повытаскивали из чемоданов тропические шлемы, зонтики, раскрыли путеводители и атласы, смотрели на приближающийся берег в подзорные трубы, вмиг позабыв о тех, с кем совсем недавно так сердечно прощались, хотя эти люди еще не покинули корабль. У всех была лишь одна мысль — поскорей ступить на берег, только бы поскорей: одни после долгой разлуки спешили вернуться домой к семьям и к оставленным делам, другие жаждали наконец-то своими глазами увидеть тропики, кокосовые пальмы, смуглолицых туземцев, а кто-то и просто хотел на часок-другой опостылевшего корабля виски где-нибудь вдруг И выпить комфортабельном отеле на твердой земле. И каждый торопился запереть дверь своей каюты, уплатить по счетам курительного салона, спросить, нет ли для него писем в почте, которую только Что доставили с берега, обменяться с другими свежими новостями политики и светской жизни.

Среди всей этой бездушной суеты возлежала на своем обычном месте толстуха падуанка. Казалось, ее ничуть не интересует то, что происходит вокруг; выглядела она по-прежнему плохо и к тому же очень ослабела после вынужденной голодовки, щеки ее ввалились, глаза глядели сонно. К ней то и дело подходил кто-нибудь, кто уже раньше с ней попрощался, и теперь, подхваченный общим движением, снова оказывался рядом, снова пожимал ей руку, поздравлял с окончанием плавания. И вот грянула музыка, помощник капитана встал возле спущенного за борт трапа, чтобы пассажиров; появился распоряжаться высадкой И сам преобразившийся почти до неузнаваемости, в сером штатском костюме и спустился котелке, шлюпку вместе несколькими привилегированными пассажирами, прочие гурьбой устремились моторным катерам и весельным лодкам, которые пришли из порта, чтобы доставить пассажиров на берег.

В эту минуту на корабле появился прибывший с берега молодой человек в белом костюме с серебряными пуговицами.

Он был недурен собой — в молодом загорелом лице его чувствовались спокойная суровость и самоуверенность, что свойственны большинству европейских переселенцев в южные страны. Молодой человек держал в руках необъятный букет громадных индийских цветов, который закрывал его от пояса до самого подбородка. С уверенностью привычного к морским судам путешественника он проложил себе дорогу в толпе и при этом жадно искал кого-то глазами; мы с ним едва не столкнулись, и в эту минуту у меня мелькнула мысль, что он-то и есть жених нашего Колосса. Он все искал: быстро прошел палубу из конца в конец, вернулся, опять поспешил вперед, причем дважды пробежал мимо своей невесты, потом ненадолго скрылся в курительном салоне, снова выбежал на палубу, тяжело дыша, окликнул багажного начальника и в конце концов остановил спешившего куда-то старшего стюарда и принялся настойчиво чего-то от него добиваться. Я увидел, что, дав стюарду монету, он жарким шепотом о чем-то его расспрашивает, стюард улыбнулся, радостно закивал головой и указал на шезлонг, в котором, все так же устало прикрыв глаза, возлежала наша падуанка. Незнакомец подошел ближе. Он взглянул на лежащую в шезлонге, бросился назад, к стюарду, — тот снова кивнул, незнакомец снова сделал два-три шага по направлению к толстой девушке и с близкого расстояния пристально вгляделся в ее лицо. Потом стиснул зубы, медленно повернулся на месте и нерешительно двинулся прочь.

Он спустился в курительный салон, который в это время уже был закрыт. Но он заплатил стюарду и получил большую рюмку виски, сел в стороне, выпил до дна, о чем-то глубоко задумавшись. Затем стюард все же мягко попросил его из салона и закрыл свое заведение.

Побледневший, с каким-то отчаянным лицом, незнакомец обошел носовую часть палубы, где музыканты уже убирали трубы в футляры. Подошел к леерам, тихо опустил за борт в грязную воду свой огромный букет и, перегнувшись через леера, плюнул ему вслед.

Теперь он, похоже, принял решение. Он еще раз медленно обошел палубу из конца в конец и оказался там, где была падуанка, — она тем временем встала с кресла и теперь устало и немного робея оглядывалась вокруг. Он подошел и снял с головы шлем, его лоб засиял белизной над загорелым лицом. Он протянул Колоссу руку.

Падуанка с рыданием бросилась ему на шею и на миг замерла, он же напряженно и сумрачно глядел куда-то в сторону поверх ее покорно склоненной головы. Потом он подбежал к леерам, перегнулся за борт, злобно обрушил вниз целый поток приказаний на гортанном языке сингалезцев, вернулся, молча взял невесту под руку и повел к трапу.

Как они живут ныне, не знаю. Но о том, что свадьба состоялась, мне рассказали, когда, уже собираясь в обратный путь, я посетил наше консульство в Коломбо.

Герман Гессе. Лесной человек

Рассказ написан в 1914 году. Тематически связан с индийской поездкой. Как и все предыдущие рассказы, традиционно объединяется в один том с записками «Из Индии».

Перевод Г. Снежинской.

В начале древнейших эпох, когда молодой род человеческий не расселился еще по Земле, были лесные люди[24]. Они боязливо жались друг к другу в сумраке диких лесов, жили в вечной вражде со своими сородичами обезьянами, и один только бог, один закон владычествовал над их бытием — лес. Лес был им родиной и пристанищем, колыбелью, норой и могилой, и никто из лесных людей не мыслил жизни вне леса. Они боялись приблизиться к краю леса, если же прихоть судьбы бросала охотника или беглеца туда, на край, то, вернувшись, он рассказывал, пугливо вздрагивая, о белой пустоте за краем леса, где под палящим, гибельным солнцем простиралось страшное Ничто. И был среди лесных людей старец, который когда-то, много десятков лет назад, спасаясь от хищных зверей, выбежал за крайний предел леса и в то же мгновенье ослеп. Ныне он был жрецом и святым, и звали его Мата Далам, что значит «видящий внутренним оком». Он сложил священную песнь леса, песнь эту пели, когда налетала большая гроза, и повиновались жрецу лесные люди. В том, что он воочию видел солнце, но не погиб, были слава и тайна жреца.

Лесные ЛЮДИ были низкорослы, СМУГЛЫ, волосаты, пригнувшись, смотрели вокруг настороженно, словно звери. Они умели ходить, как люди, и лазать, как обезьяны, и высоко под сводами ветвей им было жить привычно, как на земле. Ни домов, ни хижин в то время они еще не знали, но знали уже оружие и всевозможные орудия, знали и украшения. Они умели делать луки и стрелы, копья и палицы из твердого дерева, ожерелья из орехов и ягод, нанизанных на шнуры из древесных волокон, на голове и на шее они носили драгоценные украшения — кабаньи клыки, когти тигра, пестрые перья птиц, речные ракушки. Посреди нескончаемого векового леса катил свои воды могучий поток, но лишь темной ночью осмеливались выйти на его берег лесные люди, многие же вовсе реки не Лишь храбрые изредка, ночью, боязливо видали. самые таясь,

прокрадывались сквозь чащу на берег, и тогда в тусклом неверном свете видели, как купаются в реке слоны, а подняв глаза к нависшим над берегом ветвям, с испугом смотрели на яркие звезды, мерцающие в зарослях многоруких манговых деревьев. Солнца они не видели никогда и страшной опасностью почитали увидеть в воде его отблеск.

В том племени лесных людей, что возглавлял слепой Мата Далам, был юноша по имени Кубу, вожак и заступник молодых и недовольных. А недовольные появились в племени с той поры, когда Мата Далам начал стареть и властолюбие его возросло.

Когда-то у него было только одно преимущество перед другими: он, слепец, получал от соплеменников пропитание, а они приходили к жрецу за советом и пели его лесную песнь. Но со временем он завел в племени всевозможные новые и тягостные обычаи, говоря, что их явило ему во сне само божество леса. Однако иные из молодых и недоверчивых утверждали: старик — обманщик, он ищет лишь собственной выгоды.

Последним из введенных слепцом обычаев был праздник новолуния, когда он восседал в середине круга людей и бил в барабан с натянутой бычьей шкурой. Все остальные должны были плясать в кругу, распевая песнь «Голо Эла», пока в смертельной усталости не падали на колени. И тогда каждый должен был острым шипом проколоть себе мочку левого уха, а юных девушек подводили к жрецу, и каждой он прокалывал мочку острым шипом.

Кубу и несколько его сверстников уклонились от совершения этого обряда; они же решили уговорить девушек, чтобы те дали отпор жрецу. И однажды блеснула надежда — они могли победить, сокрушить власть жреца. В тот раз он снова устроил празднество новолуния и прокалывал девушкам левое ухо. И вдруг одна сильная молодая девушка, громко вскрикнув, оттолкнула жреца, и за это он ударил ее шипом в глаз, и глаз вытек. Тут закричала девушка так отчаянно, что все бросились к ней, увидев же, что стряслось, люди безмолвно застыли, пораженные и негодующие. Но когда юноши, уже торжествуя победу, вышли вперед и Кубу, осмелев, схватил жреца за плечо, тот встал, заслонив собой барабан, и выкрикнул скрипучим глумливым фальцетом проклятие столь страшное, что все племя бросилось в страхе бежать, и сердце Кубу сжалось от страха.

Старый жрец произнес слова, точный смысл которых никому не был ясен, но самый звук этих слов дико и жутко похож был на страшные заклинания богослужений. И еще жрец предал проклятью глаза юноши, предсказав, что их выклюют грифы, предал проклятью его печень и сердце, предсказав, что палящее солнце иссушит их в открытом поле. Вслед за тем

старик, чья власть в тот час возросла небывало, повелел вновь привести непокорную и выколол девушке второй глаз, и все в страхе взирали на происходящее, не смея даже вздохнуть.

— Ты умрешь там, за краем[25], — так проклял старик Кубу, и с тех пор все сторонились обреченного. «Там, за краем» значило: вне родины, вне сумрачного леса! «Там, за краем» значило: под страшным палящим солнцем, в пылающей гибельной пустоте.

Кубу в страхе метался по лесу, когда же он понял, что все его избегают, спрятался в дупле дерева, чтобы все думали, что он пропал. Дни и ночи лежал он в дупле, терзаясь то смертельным страхом, то яростью, страшась, что соплеменники придут и убьют его, что само солнце прорвется сквозь лес, загонит его, захватит, убьет. Но не ударили стрелы и копья, солнце и молния — не было ничего, кроме глубокого изнеможения и звериного рыка голода.

И тогда Кубу встал и спустился из дупла, отрезвленный, почти разочарованный.

«Проклятье жреца — ничто», — с удивлением подумал он и занялся поиском пищи, а когда утолил голод и ощутил, что жизненные токи вновь побежали по телу, в душе его вновь пробудились гордость и ненависть. Теперь он уже не хотел возвращаться к своим. Теперь он хотел быть одиночкой, изгнанником, тем, кого ненавидят, тем, кого жрец, безглазая тварь, проклял в бессильной злобе. Он хотел быть одиноким, всегда одиноким, но прежде хотел совершить свою месть.

И он шел и думал. Он раздумывал обо всем, что когда-либо пробудило его сомнение и оказалось обманом, но больше всего — о барабане жреца, о его празднествах, и чем дольше он думал, чем дольше он был один, тем яснее он видел: обман, да, все было обман и ложь. Поняв же это, он продолжал думать и всю свою обострившуюся недоверчивость обратил к тому, что почиталось истинным и священным. Что такое хотя бы бог леса или лесная священная песнь? И они — ничто, и здесь обман! И, преодолевая ужас в душе, он запел лесную священную песнь с насмешкой, с презреньем, коверкая каждое слово, и он трижды выкрикнул имя лесного бога, имя, которое никто, кроме жреца, не смел произнести под страхом смерти, — ничего не случилось, не грянула буря, не вспыхнула молния!

Много дней и недель блуждал по лесу покинувший племя, на его лбу над бровями пролегли морщины, взгляд стал острым. Он совершил то, на что никто никогда не отваживался: вышел на берег лесного потока при полной луне. Там он долго смотрел без страха прямо в глаза отраженью луны, а затем и самой луне, и всем звездам, и не стряслось никакого

несчастья с ним. Ночь напролет он сидел у воды, предаваясь запретным радостям света, и пестовал свои мысли. Множество смелых и страшных замыслов зародилось в его душе. «Луна — мой друг, — думал он, — и звезда — мой друг, а старый слепец — мой враг. И, значит, это "за краем", может быть, лучше, чем наше "в лесу", и, может быть, все, кто говорит о священности леса, тоже лгут!» И, опередив многие поколения людей, однажды ночью он пришел к дерзновенной, поразительной идее: можно связать лианами несколько древесных стволов, сесть на них и плыть по течению. Его глаза блестели, сердце билось гулко. Но идея осталась невоплощенной — река кишела крокодилами.

Итак, единственный путь в будущее: выйти за край леса, если только у леса есть край, и отдаться во власть пылающей пустоты, зловещей земли «за краем». Он должен выстоять перед этим чудовищем — солнцем. Потому что — кто знает? — не окажется ли и древняя истина о том, что солнце ужасно, еще одной ложью?

При этой мысли — последней в стремительно быстром жарком потоке — Кубу охватила дрожь. Еще никогда, ни в одну мировую эпоху не смел лесной человек добровольно покинуть лес и предаться во власть страшного солнца. И снова он день за днем бродил по лесу, вынашивал свою мысль. И наконец решился. Ясным полднем, дрожа, прокрался он к реке, опасливо подполз к сверкающей кромке воды и робко взглянул на лик солнца в воде. Слепящий режущий блеск ударил в глаза, и он быстро зажмурился, но чуть позже осмелился вновь приоткрыть глаза и, наконец, в третий раз — удалось. Он смог, он вытерпел и преисполнился радости и отваги. Кубу доверился солнцу. Он возлюбил солнце — пусть даже солнце его убьет — и возненавидел старый, мрачный, гниющий лес, где гнусаво бормочут жрецы, а он, молодой и отважный, стал отверженным, изгнанным.

Теперь решение его созрело, и деяние пало в ладони, как зрелый плод. С новым легким молотом из железного дерева, к которому он приделал очень тонкую, но крепкую рукоять, Кубу на другое утро отправился искать старого жреца; он напал на его след, настиг жреца, и ударил его молотом по голове, и увидел, как его душа излетела из перекошенной пасти. Он положил оружие на грудь убитого, чтобы все узнали, кто его убил, а на гладкой поверхности молота с большим трудом вырезал обломком ракушки изображение: круг с прямыми лучами — лик солнца.

Смело пустился он в путь к далекому краю леса и шел с утра до ночи, шел вперед и вперед, и спал по ночам на деревьях, а с рассветом снова шагал и шагал вперед, много дней он шел, перебирался через ручьи и черные топи и вышел однажды на круто вздымавшийся вверх горный

склон, к замшелым скалам, каких он еще никогда не видал, и стал подниматься в горы, все выше, минуя опасные бездны, и вновь карабкался вверх по склонам сквозь вековой нескончаемый лес, и шел так долго, что зародились в его сердце сомнения и печаль: может быть, правда, что некий бог запретил лесным существам покидать родные пределы?

И вот уже к ночи, после долгого подъема по склонам, где воздух с каждым шагом становился все легче и суше, он вдруг очутился у края. Лес кончился, но с ним кончилась и земля, лес обрывался здесь в пустоту воздуха, словно мир в этом месте разломился надвое. Увидеть нельзя было ничего, кроме тускло-рдяного блика вдали и редких звезд в вышине, ибо уже наступила ночь.

Кубу опустился на землю над краем света и привязался лианами к дереву, чтобы не сорваться вниз. Бледный от неуемной тревоги, просидел он всю ночь без сна и при первом проблеске бледного рассвета нетерпеливо вскочил и склонился над пустотой в ожидании дня.

Желтые блики ясного света забрезжили вдали, и небо, казалось, пронизал трепет ожидания, как пронизал он Кубу, никогда за всю свою жизнь не видевшего рождения дня в широком воздушном просторе. И вспыхнули снопы желтого света, и вдруг вдалеке над великой бездной миров взмыло в небо рдяное огромное солнце. Оно взмыло ввысь, покинув бесконечное блеклое Ничто, и Ничто стало иссиня-черным — морем.

Перед дрожащим лесным человеком открылось то, что было «за краем». У ног Кубу обрывался вниз горный склон, убегавший в смутнотуманные глуби, впереди вздымались розовые кристаллы скалистых гор, слева вдали лежало могучее темное море, и берег бежал вдоль него, белый, кипящий пеной, с кивающими крохотными деревцами. И надо всем, над тысячей новых неведомых мощных видений всходило над морем солнце, катило по небу пылающий свет, и вспыхивал мир в ликующих красках.

Кубу не смог поглядеть в лицо солнцу. И все же он видел, как солнечный свет потоками ярких красок залил горы, и скалы, и берега, и далекие острова в синеве, и пал ниц Кубу, и склонился к земле пред богами блистающего мира. Да кто он, Кубу? Он — маленький грязный зверек, и вся его тусклая жизнь прошла в сумрачной топкой низине густого леса, и жил он в страхе и тьме, в покорности подлым богам чащобы. Здесь же был мир, и верховным его божеством было солнце, и долгий постыдный сон жизни в лесу оборвался и начал тускнеть в душе Кубу, как потускнела память об убитом жреце.

Цепляясь за камни, Кубу спустился по отвесной стене в бездну, навстречу свету и морю, и над душой его трепетало в летучем счастливом вихре подобное сну предчувствие светлой, солнцу подвластной земли, на которой живут среди света освобожденные люди, покорные солнцу и только солнцу.

Примечания

- 1. Бинсвангер имя базельского психиатра Людвига Бинсвангера (1881 1966), хорошего знакомого Гессе.
- 2. ...а если он совершал гадкий поступок... аналогия с героем сказки Э. Т. А. Гофмана «Крошка Цахес», которому приписывались все добрые дела других людей.
- 3. Хань Фук в переводе с южно-китайского диалекта означает «счастье жизни». Называя так своих детей, люди из низших сословий надеялись, что это имя принесет ребенку счастье.
- 4. ...день, благоприятствующий бракосочетанию... т. е. день, имеющий, согласно древнекитайским воззрениям, благоприятные астрологические приметы.
- 5. Праздник фонарей очевидно, «Праздник середины осени», или праздник луны, который в Китае справляется на пятнадцатый день восьмого месяца по китайскому лунному календарю. В праздничную ночь дети зажигают свечи в бумажных фонариках.
- 6. ...вытеснил их из своей памяти... обычный мотив древнекитайской литературы, связанный с очищением от внешнего мира и духовным обновлением.
- 7. Мастер почти не размыкал уст... мотив молчания, типичный для древнекитайской литературы: беззвучное взаимодействие неба и земли невозможно объяснить словами и ему должно соответствовать поэтическое безмолвие.
- 8. ...звуки... настигли его... эпизод заимствован из рассказа Ле-цзы о жизни Сюй-Таня, который, не доучившись, ушел от своего учителя Цзыцзы. Но когда тот заиграл, Сюй-Тань вернулся и остался у него навсегда.
- 9. ...стою в одних носках. Сказка содержит фрейдистскую символику: начинаясь с типичной ситуации, «сна наготы», она затем полностью соответствует описанной Фрейдом последовательности «исполнения желаний».
 - 10. Туфелька (итал.).
- 11. ...двенадцать лет было Иисусу... см. Евангелие от Луки, 2, 41-52.
- 12 ...от строчки Шиллера... по-видимому, стихотворения Ф. Шиллера «Битва», которое Гессе декламировал, будучи в Маульбронской гимназии.

- 13. Вольф, Гуго (1860-1903) австрийский композитор-вагнерианец, автор многочисленных романсов на стихи немецких романтиков. Скончался в психиатрической больнице после попытки самоубийства. В одном из писем Гессе называет его в шутку «Хуто Степной Волк» («Вольф» по-немецки волк).
- 14. «Что вам ведомо, о сумрачные кроны...» вторая строфа стихотворения И. Ф. фон Эйхендорфа «Тоска по родине». Эйхендорф (1788-1857) немецкий поэт-романтик песенного направления.
- 15. Всякое явление на земле есть символ... намек на строку из «Мистического хора» в финале второй части «Фауста»: «Все преходящее символ, сравнение» (перевод Б. Пастернака).
- 16. ...найти... золотую нить... золото в символике Гессе соответствует своему значению в алхимической традиции, которая в свою очередь используется К. Г. Юнгом для объяснения психических процессов, связанных с освобождением самости, о продвижении к центру своего «Я», скрытого в недрах бессознательного. Таким образом, золото истина, гармония, самость.
- 17. Виклиф, Джон английский религиозный реформатор XIV века. В 1415 году на констанцском соборе объявлен преступником. Оказал влияние на Яна Гуса и Мартина Лютера.
- 18. Брахманы индуистские жрецы. Брахманизм синоним индуизма, религии, возникшей в Индии около X века до н. э. Брахман (санскр.) центральное понятие индуизма, обозначение Духа как единственной реальности, сути мироздания.
- 19. Дефо, Даниель (1660 1731) английский писатель, «просветительский» реалист, автор романа «Робинзон Крузо».
- 20. ...огнепоклонники и буддисты, приверженцы Шивы и Кришны... последователи религии Огнепоклонники древних основателем которой считается Зороастр (Заратустра, или Заратуштра, Х — V век до н. э.), а главной книгой — Зенд-Авеста. Буддисты последователи Сиддхартхи, Гаутамы Будды (550 — 480 год до н. э.), что в переводе с санскрита означает «просветленный», основателя буддизма, религии нирваны как обретения душевного спокойствия, выступившей индуистской брахманизма, вытесненной НО В IX веке контрреформацией в Тибет, Китай и Японию. Шива — главный бог индуизма. Кришна — в индуизме эманация бога Вишну.
- 21. ...говорили о Брахме и об Атмане... Брахма, брахман (санскр.) В древнеиндийском религиозном и исходящих из него философских учениях высшая объективная реальность; безликое, абсолютное духовное

начало, из которого возникает мир со всем, что в нем находится. Вместе с тем все, что есть в мире, разрушается, растворяясь в Брахме; Атман (санскр.) — дыхание, душа, «я сам». В древнеиндийском религиозном умозрении и исходящих из него философских учениях — всепроникающее субъективное духовное начало, «Я», душа.

- 22. Цейлон один из этапов путешествия Гессе.
- 23. Генуя из Генуи 7 сентября 1911 года Гессе отплыл в Индию.
- 24. Лесные люди идолопоклонники.
- 25. ...за краем... т. е. во внешнем мире следует обратить внимание на антиномичность представления его в сознании лесных людей как зла и темной хаотической силы, и в сознании убегающего от них Кубу как символ добра, света, единобожия, представления, характерного и для других произведений Гессе.